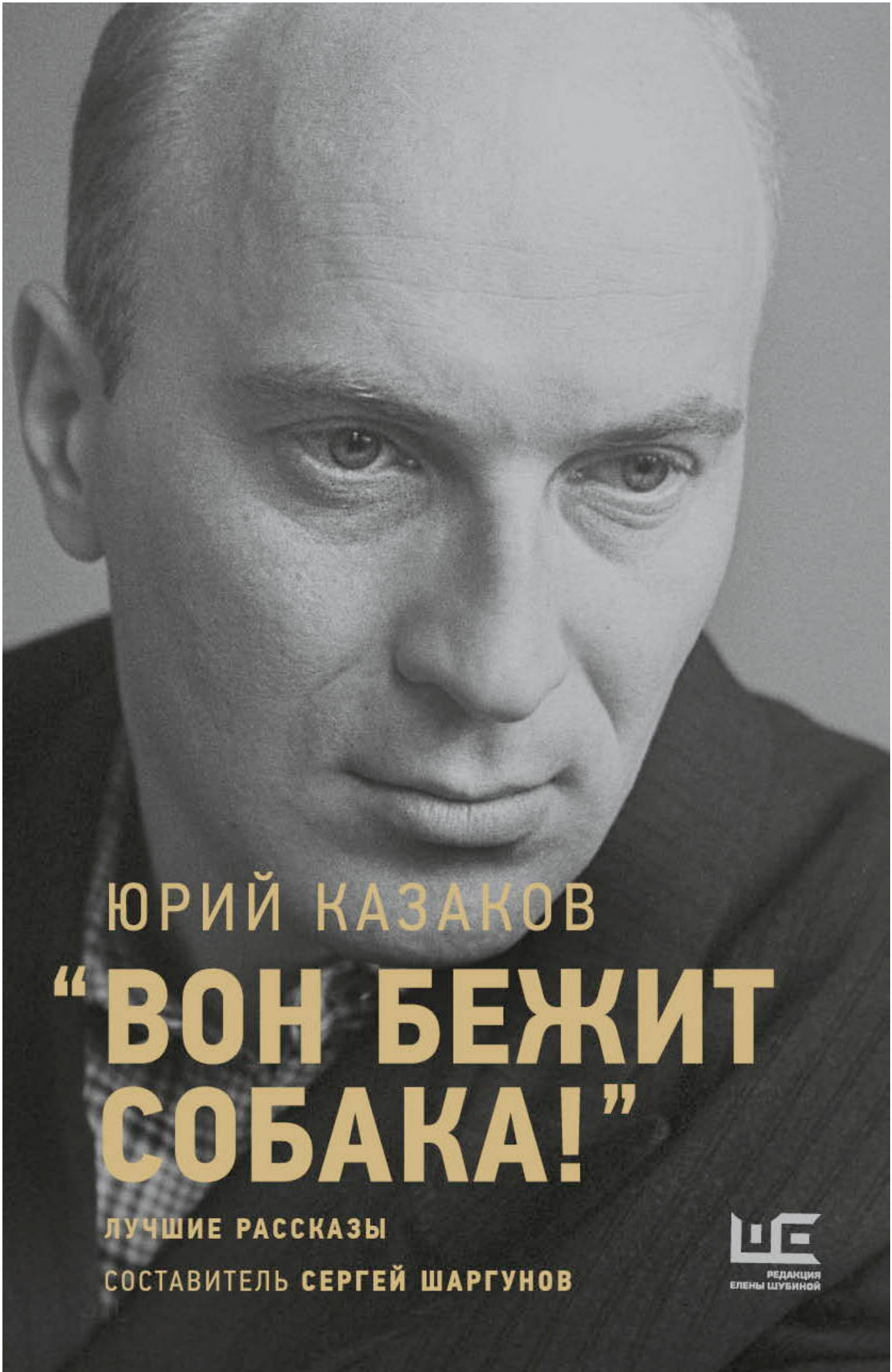


Юрий Казаков

“Вон бежит собака!”

Лучшие рассказы

Составитель **Сергей Шаргунов**

Редакция Елены Шубиной

Предметы культа

Юрий Казаков

«Вон бежит собака!»: лучшие рассказы. Составитель Сергей Шаргунов

«Издательство АСТ»

2026

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Казаков Ю. П.

«Вон бежит собака!»: лучшие рассказы. Составитель Сергей Шаргунов / Ю. П. Казаков — «Издательство АСТ», 2026 — (Предметы культа)

ISBN 978-5-17-191887-3

Юрий Павлович Казаков (1927–1982) лучший рассказчик второй половины XX века. С дебютного рассказа — классик. Он стоял у истоков городской и деревенской прозы, был звездой шестидесятников, совмещая джазовую ритмичность письма и глубокий интерес к судьбе простого человека. Каждый рассказ — путешествие души, каждое слово — светится. «На полустанке», «Голубое и зеленое», «Арктур — гончий пес», «Долгие крики», «Свечечка», «Во сне ты горько плакал», «Русский флаг» (публикуется впервые)… Составитель сборника Сергей Шаргунов, автор книги «Зачем я здесь. Юрий Казаков: недописанная жизнь».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-191887-3

© Казаков Ю. П., 2026
© Издательство АСТ, 2026

Содержание

Сергей Шаргунов 6
На полустанке 8
Тихое утро 11
Ночь 18
Некрасивая 26
Странник 32
1 32
2 33
3 37
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Юрий Казаков
“Вон бежит собака!”

Составитель и предисловие С. Шаргунов
Художник Андрей Бондаренко
Фото автора на переплёте – А. Лесс / РИА Новости

© Казаков Ю. П., наследники.
© Шаргунов С. А., составление, предисловие.
© Бондаренко А. Л., оформление.
© ООО “Издательство АСТ”.

* * *

Сергей Шаргунов
Вас нет, и горько плакал

Юрий Павлович, ваши рассказы не требуют предисловий.

Они говорят сами за себя.

Как лес и поле, как льдины Белого моря и взламывающие их волны, как цепкий взгляд охотничьих глаз и промельк обречённой птицы.

В этой книге те рассказы, которые захотелось увидеть вместе, именно в такой последовательности.

Очень надеюсь, скоро выйдет полное собрание ваших сочинений, куда войдут и найденные недавно. Бог даст, получится ещё что-то обрести. Говорят, после вашей смерти пропал коричневый чемодан, набитый рукописями.

А пока здесь публикуется доселе неизвестный "Русский флаг" – набросок киносценария, посвящённый странствиям исследователя Арктики Владимира Русанова. Северный дневник на дореволюционный лад… И во включённых сюда рассказах впервые устранены неточности, которые вы просили исправить, допущенные при всех изданиях.

Рассказы ваши неотделимы от вашей судьбы.

Крестьянский сын из арбатской коммуналки, самородок, покоритель литературы. Вы уходили из жизни больным, небогатым, пьющим, одиноким, с ощущением неудачи. Даже романа, о котором мечталось, так и не написали.

Но конечно, эта книжка – "томов премногих тяжелей".

Для меня вы – лучший рассказчик.

В 1967-м в "Литгазете" вы предлагали такую формулу: "Чувствительность, глубокая и вместе с тем целомудренная, ностальгия по быстротекущему времени, музыкальность, свидетельствующая о глубоком мастерстве, чудесное преображение обыденного, обострённое внимание к природе, тончайшее чувство меры и подтекста, дар холодного наблюдения и умение показать внутренний мир человека".

Александр Солженицын вырезал этот абзац из газеты, наклеил на лист и приписал красным: "Ведь всё о себе".

Он был прав. Это действительно написал о вас несколькими годами ранее писатель Клод Руа в газете *"Libération"*.

К сказанному можно добавить ещё и ещё… Грубость и нежность, красочность и прозрачность, смелость и сила, в том числе – быть растерянным и слабым.

Каждый рассказ – путешествие души, в каждом – завораживающий "внутренний сюжет". Каждое слово – светится.

Вас, Юрий Павлович, называли наследником классики, вы стояли у истоков городской и деревенской прозы, и неслучайно при своём отшельничестве стали одной из стержневых фигур в истории словесности, оказались близки совсем разным современникам от Василия Аксёнова до Валентина Распутина, от Венедикта Ерофеева до Василия Белова, от Юрия Трифонова до Владимира Солоухина.

Человек, соединявший свободомыслие и почвенность, вселенское и родное. Тот, через кого можно увидеть не только развилки прошлого, но и будущего.

До слёз бывает грустно, когда изучаешь вашу рано прервавшуюся жизнь, разгадываешь вашу сумрачную тайну, думаешь, что вы могли бы узнать и описать эпоху, накануне которой ушли, и что вы по-прежнему не ко двору, не только близкий всем, но и всем чужой…

Сегодня, будем честны, вы полузабыты, если не забыты.

Надеюсь, очередное переиздание вашей прозы и ваше жизнеописание помогут хотя бы отчасти вернуть ваше имя читателям.

Но ведь, на самом-то деле, переживать не о чем.

Юрий Павлович, вам повезло – вы не просто есть, вы – навсегда.

Повезло и нам, тем, кто будет перечитывать вас или прочитает впервые. Сколько бы нас ни было…

“На полустанке”, “Трали-вали”, “Ни стуку, ни грюку”, “Вон бежит собака!”, “Адам и Ева”, “Плачу и рыдаю”, “Осень в дубовых лесах”, “Ночлег”, “Свечечка”, “Во сне ты горько плакал”…

Сами названия обволакивают таинственной музыкой.

Бескрайний, озарённый закатом мир: оглядываешься, затаив дыхание.

Будем читать ваш роман – главу за главой.

С благодарностью, Сергей Шаргунов
2026

На полустанке

Была пасмурная холодная осень. Низкое бревенчатое здание небольшой станции почернело от дождей. Второй день дул резкий северный ветер, свистел в чердачном окне, гудел в станционном колоколе, сильно раскачивал голые сучья берёз.

У сломанной коновязи, низко свесив голову, расставив оплывшие ноги, стояла лошадь. Ветер откидывал у ней хвост в сторону, шевелил гривой, сеном на телеге, дёргал за поводья. Но лошадь не поднимала головы и не открывала глаз: должно быть, думала о чём-то тяжёлом или дремала.

Возле телеги на чемодане сидел вихрастый рябой парень в кожаном пальто, с грубым, тяжёлым и плоским лицом. Он частыми затяжками курил дешёвую папиросу, сплёвывал, поглаживал подбородок красной короткопалой рукой, угрюмо смотрел в землю.

Рядом с ним стояла девушка с припухшими глазами и выбившейся из-под платка прядью волос. В лице её, бледном и усталом, не было уже ни надежды, ни желания; оно казалось холодным, равнодушным. И только в тоскующих тёмных глазах её притаилось что-то болезненно-невысказанное. Она терпеливо переступала короткими ногами в грязных ботиках, старалась стать спиной к ветру, не отрываясь смотрела на белое хрящеватое ухо парня.

Со слабым шорохом катились по перрону листья, собирались в кучи, шептались тоскливо о чём-то своём, потом, разгоняемые ветром, снова крутились по сырой земле, попадали в лужи и, прижавшись к воде, затихали. Кругом было сыро и зябко…

– Вот она, жизнь-то, как повернулась, а? – заговорил вдруг парень и усмехнулся одними губами. – Теперь моё дело – порядок! Чего мне теперь в колхозе? Дом? Дом пускай матери с сестрой достаётся, не жалко. Я в область явлюсь, сейчас мне тренера дадут, опять же, квартиру… Штангисты-то у нас какие? На соревнованиях был, видал: самолучшие еле на первый разряд идут. А я вон норму мастера жиманул запросто! Чуешь?

– А я как же? – тихо спросила девушка.

– Ты-то? – Парень покосился на неё, кашлянул. – Говорено было. Дай огляжусь – приеду. Мне сейчас некогда… Мне на рекорды давить надо. В Москву ещё поеду, я им там дам жизни. Мне вот одного жалко: не знал я этой механики раньше. А то бы давно… Как они там живут? Тренируются… А у меня сила нутряная, ты погоди маленько, я их там всех вместе поприжму. За границу ездить буду, житуха начнётся – дай бог! Н-да… А к тебе приеду… Я потом это… напишу…

Вдали послышался слабый, неясный шум поезда; унылую тишину хмурого дня прорезал тонкий тягучий гудок; дверь станции хлопнула, на перрон, прячась в воротник шинели, вышел начальник станции с заспанным лицом, в красной фуражке с тёмными пятнами мазута.

Он покосился на одиноких пассажиров, вытащил папиросу, помял её в пальцах, понюхал и, посмотрев на небо, спрятал в карман. Потом, зевнув, сипло спросил:

– Какой вагон?

Парень тяжело повернул голову на короткой толстой шее, посмотрел на новые калоши начальника станции, полез за билетом.

– Девятый. А что?

– Ну-ну… – пробормотал начальник и снова зевнул. – Девятый, говоришь? Так… Девятый. А погода – сволочь. Ох-хо-хо…

Отвернулся и, обходя лужи, побрёл к багажному отделению. Поезд показался из-за леса, быстро приблизился, сбавляя ход, прокричал ещё раз, устало и тонко. Парень поднялся, бросил папиросу, посмотрел на девушку: та силилась улыбнуться, но губы не слушались, тряслись.

– А ну, хватит! – проворчал парень, нагибаясь за чемоданом. – Слыхала? Хватит, я говорю!

Они медленно пошли по перрону навстречу поезду. Девушка жадно заглядывала парню в лицо, держалась за рукав, говорила, путаясь и торопясь:

– Ты там берегись, слишком-то не подымай… А то жила какая-нибудь лопнет… О себе подумай, не надрывайся… Я что? Я ждать буду! В газетах про тебя искать буду… Ты обо мне не мечтай. Так я это, люблю тебя, вот и плачу, думаю…

– А ну, брось! – сказал парень. – Сказано – приеду…

Мимо них, сотрясая землю, прошёл паровоз, обдав их теплом и влажным паром. Потом всё медленней и медленней пошли усталые вагоны: один, другой, третий…

– Вон девятый! – быстро сказала девушка. – Подождём!

Вагон мягко остановился возле них. В тамбуре толпились измятые, бледные пассажиры, с любопытством выглядывали наружу. За окном стоял толстый небритый человек в полосатой пижаме и, наморщив маленький пухлый лобик, ожесточённо дёргал раму. Рама не поддавалась, и пассажир страдальчески морщился. Наконец ему удалось открыть окно, он сейчас же высунулся, оглядывая с близорукой улыбкой полустанок, увидел девушку, ещё шире улыбнулся и слабо закричал:

– Девушка, это какая станция?

– Лунданка, – сипло сказал проводник.

– Базар есть? – спросил человек в пижаме, по-прежнему глядя на девушку.

– Нету базара, – опять отозвался проводник. – Две минуты стоим.

– Как же так? – изумился пассажир, всё ещё глядя на девушку.

– Закройте окно! – попросили из вагона капризным голосом.

Человек в пижаме обернулся, показывая пухлую спину, потом, жалко улыбаясь, закрыл окно и вдруг исчез, будто провалился.

Парень поставил чемодан на подножку вагона, повернулся к девушке.

– Ну, прощай, что ли, – тяжело проговорил он и сунул руки в карманы.

У девушки поползли по щекам слёзы. Она всхлипнула, уткнулась парню в плечо.

– Скучно мне будет, – шептала она. – Пиши почаще-то… Слышишь? Пиши-и… Ведь приедешь?

– Сказано уже, – неохотно и испуганно говорил парень. – Оботри слёзы-то… Ну!

– Да я ничего, – шептала девушка, задыхаясь, быстро, по-беличьи отирая слёзы и влюблённо глядя в лицо парню. – Одна я остаюсь. Помни, о чём говорили-то…

– Я помню, мне что! – хмуро бормотал парень, задирая голову и поводя глазами.

– А мне… Я всю жизнь для тебя… Ты знай это!

– Сказано… – буркнул парень, равнодушно глядя себе под ноги.

Два раза надтреснуто, жидко ударил колокол.

– Гражданин, попрошу в вагон, останетесь… – сказал проводник и первым полез торопливо на площадку. Девушка побледнела, схватилась рукою за рот.

– Вася! – закричала она и невидящим взглядом посмотрела на пассажиров: те сразу отвернулись. – Вася! Поцелуй же меня…

– Мне что… – пробормотал парень, затравленно покосился назад и нагнулся к девушке. Потом выпрямился, словно кончил тяжёлую работу, вскочил на подножку. Девушка тихо ахнула, закусила прыгающую губу, закрыла лицо руками, но тотчас отняла руки…

Под вагонами зашипело, сдавленно крикнул впереди паровоз, и также сдавленно отозвалось из леса короткое, глухое эхо. Вагоны едва уловимо тронулись. Заскрипели шпалы. Парень стоял на подножке, хмуро смотрел на девушку, потом покраснел и негромко крикнул:

– Слышь… Не приеду я больше! Слышь…

Он оскалился, сильно втянул в себя воздух, сказал ещё что-то непонятное, злое и, взяв с подножки чемодан, боком полез в тамбур.

Девушка сразу как-то согнулась, опустила голову… Мимо неё мелькали вагоны, глухо дышали шпалы, что-то поскрипывало, попискивало, а она пристально, не мигая, смотрела на радужное пятно мазута на рельсе, скрывавшееся на мгновение под колёсами и снова показывающееся, смотрела задумчиво, робко, незаметно для себя всё ближе подвигаясь к этому пятну, будто манило, притягивало оно её. Она напрягалась, прижимала руку к нестерпимо болевшему сердцу, робкие, почти ещё детские губы её всё белели…

– Берегись! – раздался вдруг дикий крик над её головой.

Девушка вздрогнула, моргнула, радужное пятно посветлело, поскрипывание шпал и стук колёс прекратились, и, подняв голову, она увидела, что последний вагон с круглым красным щитком на буфере неслышно, как по воздуху, уплывает всё дальше. Тогда она подняла голову к низкому, равнодушному небу, стянула на лицо платок и завыла по-бабьи, качаясь, будто пьяная:

– Уеха-а-ал!..

Поезд быстро скрылся за ближним лесом. Стало тихо. Шаркая по земле ногами, подошёл начальник станции, остановился за спиной девушки, зевнул.

– Уехал? – спросил он. – Н-да… Нынче все едут.

Помолчал, потом смачно плюнул, растёр плевок ногой.

– Скоро и я уеду… – забормотал он. – На юг подамся. Тут скука, дожди… А там, на юге-то, теплынь! Эти – как их? – кипарисы…

Окинул взглядом фигуру девушки, долго смотрел на грязные ботики, спросил негромко и равнодушно:

– Вы не из “Красного маяка” будете? А? Н-да… Вон оно что… А погода-то – сволочь. Факт!

И ушёл, волоча ноги, старательно обходя лужи.

Девушка долго ещё стояла на пустой платформе, смотрела прямо перед собой и ничего не видела: ни тёмного, мокрого леса, ни тускло блестевших рельсов, ни бурой никлой травы… Видела она рябое и грубое лицо парня.

Наконец вздохнула, вытерла мокрое лицо, пошла к лошади. Отвязала лошадь, поправила шлею, перевернула сено, оскользнувшись, забралась на телегу, тронула вожжи. Лошадь подалась назад, вяло махнула хвостом, сама завернула, с трудом переставляя ноги, пошла мимо палисадника, мимо стогов сена и сложенных крест-накрест шпал к просёлочной дороге.

Девушка сидела не шевелясь, глядя поверх дуги, потом в последний раз оглянулась на полустанок и легла в телеге ничком.

1954

Тихое утро

Ещё только-только прокричали сонные петухи, ещё темно было в избе, мать не доила корову и пастух не выгонял стадо в луга, когда проснулся Яшка.

Он сел на постели, долго таращил глаза на голубоватые потные окошки, на смутно белеющую печь. Сладок предрассветный сон, и голова валится на подушку, и глаза слипаются, но Яшка переборол себя, спотыкаясь, цепляясь за лавки и стулья, стал бродить по избе, разыскивая старые штаны и рубаху.

Поев молока с хлебом, Яшка взял в сенях удочки и вышел на крыльцо. Деревня, будто большим пуховым одеялом, была укрыта туманом. Ближние дома были ещё видны, дальние едва проглядывали тёмными пятнами, а ещё дальше, к реке, уже ничего не было видно, и казалось, никогда не было ни ветряка на горке, ни пожарной каланчи, ни школы, ни леса на горизонте… Всё исчезло, притаилось сейчас, и центром маленького замкнутого мира оказалась Яшкина изба.

Кто-то проснулся раньше Яшки, стучал возле кузницы молотком; чистые металлические звуки, прорываясь сквозь пелену тумана, долетали до большого невидимого амбара и возвращались оттуда уже ослабленными. Казалось, стучат двое: один погромче, другой потише.

Яшка соскочил с крыльца, замахнулся удочками на подвернувшегося под ноги петуха и весело затрусил к риге. У риги он вытащил из-под доски ржавый косарь и стал рыть землю. Почти сразу же начали попадаться красные и лиловые холодные червяки. Толстые и тонкие, они одинаково проворно уходили в рыхлую землю, но Яшка всё-таки успевал выхватывать их и скоро набросал почти полную банку. Подсыпав червям свежей земли, он побежал вниз по тропинке, перевалился через плетень и задами пробрался к сараю, где на сеновале спал его новый приятель – Володя.

Яшка заложил в рот испачканные землёй пальцы и свистнул. Потом сплюнул и прислушался. Было тихо.

– Володька! – позвал он. – Вставай!

Володя зашевелился на сене, долго возился и шуршал там, наконец неловко слез, наступая на незавязанные шнурки. Лицо его, измятое после сна, было бессмысленно и неподвижно – как у слепого, в волосы набилась сенная труха, она же, видимо, попала ему и за рубашку, потому что, стоя уже внизу, рядом с Яшкой, он всё дёргал тонкой шеей, поводил плечами и почёсывал спину.

– А не рано? – сипло спросил он, зевнул и, покачнувшись, схватился рукой за лестницу.

Яшка разозлился: он встал на целый час раньше, червяков накопал, удочки притащил… а если по правде говорить, то и встал-то он сегодня из-за этого заморыша, хотел места рыбные ему показать – и вот вместо благодарности и восхищения – “рано”!

– Для кого рано, а для кого не рано! – зло ответил он и с пренебрежением осмотрел Володю с головы до ног.

Володя выглянул на улицу, лицо его оживилось, глаза заблестели, он начал торопливо зашнуровывать ботинки. Но для Яшки вся прелесть утра была уже отравлена.

– Ты что, в ботинках пойдёшь? – презрительно спросил он и посмотрел на оттопыренный палец своей босой ноги. – А калоши наденешь?

Володя промолчал, покраснел и принялся за другой ботинок.

– Ну да… – меланхолично продолжал Яшка, ставя удочки к стене. – У вас там, в Москве, небось босиком не ходют…

– Ну и что? – Володя снизу посмотрел в широкое, насмешливо-злое лицо Яшки.

– Да ничего… Забежи домой, пальто возьми…

– Ну и забегу! – сквозь зубы ответил Володя и ещё больше покраснел.

Яшка заскучал. Зря он связался со всем этим делом. На что уж Колька да Женька Воронковы – рыбаки, а и те признают, что лучше его нет рыболова во всём колхозе. Только отведи на место да покажи – яблоками засыплют! А этот… пришёл вчера, вежливый… “Пожалуйста, пожалуйста…” Дать ему по шее, что ли? Надо было связываться с этим москвичом, который, наверно, и рыбы в глаза не видал, идёт на рыбалку в ботинках!..

– А ты галстук надень, – съязвил Яшка и хрипло засмеялся. – У нас рыба обижается, когда к ней без галстука суёшься.

Володя наконец справился с ботинками и, подрагивая от обиды ноздрями, глядя прямо перед собой невидящим взглядом, вышел из сарая. Он готов был отказаться от рыбалки и тут же разреветься, но он так ждал этого утра! За ним нехотя вышел Яшка, и ребята молча, не глядя друг на друга, пошли по улице. Они шли по деревне, и туман отступал перед ними, открывая всё новые и новые дома, и сараи, и школу, и длинные ряды молочно-белых построек фермы… Будто скупой хозяин, он показывал всё это только на минуту и потом снова плотно смыкался сзади.

Володя жестоко страдал. Он сердился на себя за грубые ответы Яшке, сердился на Яшку и казался сам себе в эту минуту неловким и жалким. Ему было стыдно своей неловкости, и, чтобы хоть как-нибудь заглушить это неприятное чувство, он думал, ожесточаясь: “Ладно, пусть… Пускай издевается, они меня ещё узнают, я не позволю им смеяться! Подумаешь, велика важность босиком идти! Воображалы какие!” Но в то же время он с откровенной завистью и даже с восхищением поглядывал на босые Яшкины ноги, и на холщовую сумку для рыбы, и на заплатанные, надетые специально на рыбную ловлю штаны, и серую рубаху. Он завидовал Яшкиному загару и его походке, при которой шевелятся плечи и лопатки и даже уши и которая у многих деревенских ребят считается особенным шиком.

Проходили мимо колодца со старым, поросшим зеленью срубом.

– Стой! – сказал хмуро Яшка. – Попьём!

Он подошёл к колодцу, загремел цепью, вытащил тяжёлую бадью с водой и жадно приник к ней. Пить ему не хотелось, но он считал, что лучше этой воды нигде нет, и поэтому каждый раз, проходя мимо колодца, пил её с огромным наслаждением. Вода, переливаясь через край бадьи, плескала ему на босые ноги, он поджимал их, но всё пил и пил, изредка отрываясь и шумно дыша.

– На, пей! – сказал он наконец Володе, вытирая рукавом губы.

Володе тоже не хотелось пить, но, чтобы ещё больше не рассердить Яшку, он послушно припал к бадье и стал тянуть воду мелкими глоточками, пока от холода у него не заломило в затылке.

– Ну, как водичка? – самодовольно осведомился Яшка, когда Володя отошёл от колодца.

– Законная! – отозвался Володя и поёжился.

– Небось, в Москве такой нету? – ядовито прищурился Яшка.

Володя ничего не ответил, только втянул сквозь сжатые зубы воздух и примиряюще улыбнулся.

– Ты ловил ли рыбу-то? – спросил Яшка.

– Нет… Только на Москве-реке видел, как ловят, – упавшим голосом сознался Володя и робко взглянул на Яшку.

Это признание несколько смягчило Яшку, и он, пощупав банку с червями, сказал как бы между прочим:

– Вчера наш завклубом в Плешанском бочаге сома видал…

У Володи заблестели глаза.

– Большой?

– А ты думал! Метра два… А может, и все три – в темноте не разобрать было. Наш завклубом аж перепугался, думал, крокодил. Не веришь?

– Врёшь! – восторженно выдохнул Володя и подёрнул плечами; по его глазам было видно, что верит он всему безусловно.

– Я вру? – Яшка изумился. – Хочешь, айда вечером сегодня ловить! Ну?

– А можно? – с надеждой спросил Володя, и уши его порозовели.

– А чего… – Яшка сплюнул, вытер нос рукавом. – Снасть у меня есть. Лягвы, вьюнов наловим… Выползков захватим – там голавли ещё водятся – и на две зари! Ночью костёр запалим… Пойдёшь?

Володе стало необыкновенно весело, и он только теперь почувствовал, как хорошо выйти утром из дому. Как славно и легко дышится, как хочется побежать по этой мягкой дороге, помчаться во весь дух, подпрыгивая и взвизгивая от восторга!

Что это так странно звякнуло там, сзади? Кто это вдруг, будто ударяя раз за разом по натянутой тугой струне, ясно и мелодически прокричал в лугах? Где это было с ним? А может, и не было? Но почему же тогда так знакомо это ощущение восторга и счастья?

Что это затрещало так громко в поле? Мотоцикл? Володя вопросительно посмотрел на Яшку.

– Трактор! – ответил важно Яшка.

– Трактор? Но почему же он трещит?

– Это он заводится… Скоро заведётся… Слушай. Во-во… Слыхал? Загудел! Ну, теперь пойдёт… Это Федя Костылёв – всю ночь пахал с фарами, чуток поспал и опять пошёл…

Володя посмотрел в ту сторону, откуда слышался гул трактора, и тотчас спросил:

– Туманы у вас всегда такие?

– Не… когда чисто. А когда попоздней, к сентябрю поближе, глядишь, и инеем вдарит. А вообще, в туман рыба берёт – успевай таскать!

– А какая у вас рыба?

– Рыба-то? Рыба всякая… И караси на плёсах есть, щука, ну, потом эти… окунь, плотва, лещ… ещё линь. Знаешь линя? Как поросёнок. То-олстый! Я сам первый раз поймал – рот разинул.

– А много можно поймать?

– Гм… Всяко бывает. Другой раз кило пять, а другой раз так только… кошке.

– Что это свистит? – Володя остановился, поднял голову.

– Это? Это ути летят… Чирочки.

– Ага… знаю. А это что?

– Дрозды звенят… На рябину прилетели к тёте Насте в огород. Ты дроздов-то ловил когда?

– Никогда не ловил…

– У Мишки Каюнёнка сетка есть, вот погоди, пойдём ловить. Они, дрозды-то, жаднющие… По полям стаями летают, червяков из-под трактора берут. Ты сетку растяни, рябины набросай, затаись и жди. Как налетят, так сразу штук пять под сетку полезут… Потешные они… Не все, правда, но есть толковые… У меня один всю зиму жил, так по-всякому умел: и как паровоз, и как пила.

Деревня скоро осталась позади, бесконечно потянулся низкорослый овёс, впереди еле проглядывала тёмная полоса леса.

– Долго ещё идти? – спрашивал Володя.

– Скоро… Вот рядом, пошли ходчее, – каждый раз отвечал Яшка.

Вышли на бугор, свернули вправо, лощиной спустились вниз, прошли тропкой через льняное поле, и тут совсем неожиданно перед ними открылась река. Она была небольшой, густо поросла ракитником, ветлой по берегам, ясно звенела на перекатах и часто разливалась глубокими мрачными омутами.

Солнце наконец взошло; тонко заржала в лугах лошадь, и как-то необыкновенно быстро посветлело, порозовело всё вокруг; ещё отчётливей стала видна седая роса на ёлках и кустах, а туман пришёл в движение, поредел и стал неохотно открывать стога сена, тёмные на дымчатом фоне близкого теперь леса. Рыба гуляла. В омутах раздавались редкие тяжкие всплески, вода волновалась, прибрежная куга тихонько покачивалась.

Володя готов был хоть сейчас начать ловить, но Яшка шёл всё дальше берегом реки. Они почти по пояс вымокли в росе, когда наконец Яшка шёпотом сказал: “Здесь!” – и стал спускаться к воде. Нечаянно он оступился, влажные комья земли посыпались из-под его ног, и тотчас же, невидимые, закрякали утки, заплескали крыльями, взлетели и потянули над рекой, пропадая в тумане. Яшка съёжился и зашипел, как гусь. Володя облизал пересохшие губы и спрыгнул вслед за Яшкой вниз. Оглядевшись, он поразился мрачности, которая царила в этом омуте. Пахло сыростью, глиной и тиной, вода была чёрной, вётлы в буйном росте почти закрыли всё небо, и, несмотря на то, что верхушки их уже порозовели от солнца, а сквозь туман было видно синее небо, здесь, у воды, было сыро, угрюмо и холодно.

– Тут, знаешь, глубина какая? – Яшка округлил глаза. – Тут и дна нету…

Володя немного отодвинулся от воды и вздрогнул, когда у противоположного берега гулко ударила рыба.

– В этом бочаге у нас никто не купается…

– Почему? – слабым голосом спросил Володя.

– Засасывает… Как ноги опустил вниз, так всё… Вода как лёд и вниз утягивает. Мишка Каюнёнок говорил, там осьминоги на дне лежат.

– Осьминоги только… в море, – неуверенно сказал Володя и ещё отодвинулся.

– В море… Сам знаю! А Мишка видал! Пошёл на рыбалку, идёт мимо, глядит, из воды щуп и вот по берегу шарит… Ну? Мишка аж до самой деревни бёг! Хотя, наверно, он врёт, я его знаю, – несколько неожиданно заключил Яшка и стал разматывать удочки.

Володя приободрился, а Яшка, уже забыв про осьминогов, нетерпеливо поглядывал на воду, и каждый раз, когда шумно всплёскивала рыба, лицо его принимало напряжённо-страдальческое выражение.

Размотав удочки, он передал одну из них Володе, отсыпал ему в спичечную коробку червей и глазами показал место, где ловить.

Закинув насадку, Яшка, не выпуская из рук удилища, нетерпеливо уставился на поплавок. Почти сейчас же закинул свою насадку и Володя, но зацепил при этом удилищем за ветлу. Яшка страшно взглянул на Володю, выругался шёпотом, а когда перевёл взгляд опять на поплавок, то вместо него увидел только лёгкие расходящиеся круги. Яшка тотчас с силой подсёк, плавно повёл рукой вправо, с наслаждением почувствовал, как в глубине упруго заходила рыба, но напряжение лески вдруг ослабло, и из воды, чмокнув, выскочил пустой крючок. Яшка задрожал от ярости.

– Ушла, а? Ушла… – пришепётывал он, надевая мокрыми руками нового червя на крючок.

Снова забросил насадку и снова, не выпуская из рук удилища, неотрывно смотрел на поплавок, ожидая поклёвки. Но поклёвки не было, и даже всплесков не стало слышно. Рука у Яшки скоро устала, и он осторожно воткнул удилище в мягкий берег. Володя посмотрел на Яшку и тоже воткнул своё удилище.

Солнце, поднимаясь всё выше, заглянуло наконец и в этот мрачный омут. Вода сразу ослепительно засверкала, и загорелись капли росы на листьях, на траве и на цветах.

Володя, жмурясь, посмотрел на свой поплавок, потом оглянулся и неуверенно спросил:

– А что, может рыба в другой бочаг уйти?

– Ясное дело! – злобно ответил Яшка. – Та сорвалась и всех распугала. А здоровая, верно, была… Я как дёрнул, так у меня руку сразу вниз потащило! Может, на кило потянула бы.

Яшке немного стыдно было, что он упустил рыбу, но, как часто бывает, вину свою он склонен был приписать Володе. “Тоже мне рыбак! – думал он. – Сидит раскорякой… Один ловишь или с настоящим рыбаком, только успевай таскать…” Он хотел чем-нибудь уколоть Володю, но вдруг схватился за удочку: поплавок чуть шевельнулся. Напрягаясь, будто дерево с корнем вырывая, он медленно вытащил удочку из земли и, держа её на весу, чуть приподнял вверх. Поплавок снова качнулся, лёг набок, чуть подержался в таком положении и опять выпрямился. Яшка перевёл дыхание, скосил глаза и увидел, как Володя, побледнев, медленно приподнимается. Яшке стало жарко, пот мелкими капельками выступил у него на носу и верхней губе. Поплавок опять вздрогнул, пошёл в сторону, погрузился наполовину и наконец исчез, оставив после себя едва заметный завиток воды. Яшка, как и в прошлый раз, мягко подсёк и сразу подался вперёд, стараясь выпрямить удилище. Леска с дрожащим на ней поплавком вычертила кривую, Яшка привстал, перехватил удочку другой рукой и, чувствуя сильные и частые рывки, опять плавно повёл руками вправо. Володя подскочил к Яшке и, блестя отчаянными круглыми глазами, закричал тонким голосом:

– Давай, давай, дава-ай!

– Уйди! – просипел Яшка, пятясь, часто переступая ногами.

На мгновенье рыба вырвалась из воды, показала свой сверкающий широкий бок, туго ударила хвостом, подняла фонтан розовых брызг и опять ринулась в холодную глубину. Но Яшка, уперев комель удилища в живот, всё пятился и кричал:

– Врёшь, не уйдё-ёшь!..

Наконец он подвёл упирающуюся рыбу к берегу, рывком выбросил её на траву и сейчас же упал на неё животом. У Володи пересохло горло, сердце неистово колотилось…

– Что у тебя? – присев на корточки, спрашивал он. – Покажи, что у тебя?

– Ле-ещ! – с упоением выговорил Яшка.

Он осторожно вытащил из-под живота большого холодного леща, повернул к Володе своё счастливое широкое лицо, сипло засмеялся было, но улыбка его внезапно пропала, глаза испуганно уставились на что-то за спиной Володи, он съёжился, ахнул:

– Удочка-то… Глянь-ка!

Володя обернулся и увидел, что его удочка, отвалив ком земли, медленно сползает в воду и что-то сильно дёргает леску. Он вскочил, споткнулся и, на коленях подтянувшись к удочке, успел схватить её. Удилище сильно согнулось. Володя повернул к Яшке круглое бледное лицо.

– Держи! – крикнул Яшка.

Но в этот момент земля под ногами у Володи зашевелилась, подалась, он потерял равновесие, выпустил удочку, нелепо, будто ловя мяч, всплеснул руками, звонко крикнул: “А-а-а…” – и упал в воду.

– Дурак! – закричал Яшка, злобно и страдальчески искривив лицо. – Недотёпа чёртова!..

Он вскочил, схватил ком земли с травой, готовясь швырнуть в лицо Володе, как только он вынырнет. Но, взглянув на воду, он замер, и у него появилось то томительное чувство, которое испытываешь во сне: Володя в трёх метрах от берега бил, шлёпал по воде руками, запрокидывал к небу белое лицо с выпученными глазами, захлёбывался и, окунаясь в воду, всё силился что-то крикнуть, но в горле у него клокотало и получалось: “Уа-а… Уа-а…”

“Тонет! – с ужасом подумал Яшка. – Утягивает!” Бросил комок земли и, вытирая липкую руку о штаны, чувствуя слабость в ногах, попятился вверх, прочь от воды. На ум ему сразу пришёл рассказ Мишки о громадных осьминогах на дне бочага, в груди и животе стало холодно от ужаса: он понял, что Володю схватил осьминог… Земля сыпалась у него из-под ног, он упирался трясущимися руками и, совсем как во сне, неповоротливо и тяжело лез вверх.

Наконец, подгоняемый страшными звуками, которые издавал Володя, Яшка выскочил на луг и кинулся к деревне, но, не пробежав и десяти шагов, остановился, будто споткнувшись, чувствуя, что убежать никак нельзя. Поблизости не было никого, и некому было крикнуть о

помощи… Яшка судорожно шарил в карманах и в сумке в поисках хоть какой-нибудь бечёвки и, не найдя ничего, бледный, стал подкрадываться к бочагу. Подойдя к обрыву, он заглянул вниз, ожидая увидеть страшное и в то же время надеясь, что всё как-то обошлось, и опять увидел Володю. Володя теперь уже не бился, он почти весь скрылся под водой, только макушка с торчащими волосами была ещё видна. Она скрывалась и опять показывалась, скрывалась и показывалась… Яшка, не отрывая взгляда от этой макушки, начал расстёгивать штаны, потом вскрикнул и скатился вниз. Высвободившись из штанов, он, как был, в рубашке, с сумкой через плечо, прыгнул в воду, в два взмаха подплыл к Володе, схватил его за руку.

Володя сразу же вцепился в Яшку, быстро-быстро стал перебирать руками, цепляясь за рубашку и сумку, наваливаться на него и по-прежнему выдавливал из себя нечеловечески страшные звуки: “Уа-а… Уа-а…” Вода хлынула Яшке в рот. Чувствуя у себя на шее мёртвую хватку, он попытался выставить из воды своё лицо, но Володя, дрожа, всё карабкался на него, наваливался всей тяжестью, старался влезть на плечи. Яшка захлебнулся, закашлялся, задыхаясь, глотая воду, и тогда ужас охватил его, в глазах с ослепительной силой вспыхнули красные и жёлтые круги. Он понял, что Володя утопит его, что пришла его смерть, дёрнулся из последних сил, забарахтался, закричал так же нечеловечески страшно, как кричал Володя минуту назад, ударил его ногой в живот, вынырнул, увидел сквозь бегущую с волос воду яркий сплющенный шар солнца, чувствуя ещё на себе тяжесть Володи, оторвал, сбросил его с себя, замолотил по воде руками и ногами и, поднимая буруны пены, в ужасе бросился к берегу.

И только ухватясь рукой за прибрежную осоку, он опомнился и посмотрел назад. Взбаламученная вода в омуте успокаивалась, и никого уже не было на её поверхности. Из глубины весело выскочили несколько пузырьков воздуха, и у Яшки застучали зубы. Он оглянулся: ярко светило солнце, и листья кустов и вётлы блестели, радужно горела паутина между цветами, и трясогузка сидела наверху, на бревне, покачивала хвостом и блестящим глазом смотрела на Яшку, и всё было так же, как и всегда, всё дышало покоем и тишиной, и стояло над землёй тихое утро, а между тем вот только сейчас, совсем недавно случилось страшное – только что утонул человек, и это он, Яшка, ударил, утопил его.

Яшка моргнул, отпустил осоку, повёл плечами под мокрой рубашкой, глубоко, с перерывами вдохнул воздух и нырнул. Открыв под водой глаза, он не мог сначала ничего разобрать: кругом дрожали неясные желтоватые и зеленоватые блики и какие-то травы, освещённые солнцем. Но свет солнца не проникал туда, в глубину… Яшка опустился ещё ниже, проплыл немного, задевая руками и лицом за травы, и тут увидел Володю. Володя держался на боку, одна нога его запуталась в траве, а сам он медленно поворачивался, покачиваясь, подставляя солнечному свету круглое бледное лицо и шевеля левой рукой, словно пробуя на ощупь воду. Яшке показалось, что Володя притворяется и нарочно покачивает рукой, что он следит за ним, чтобы схватить, как только он дотронется до него.

Чувствуя, что сейчас задохнётся, Яшка рванулся к Володе, схватил его за руку, зажмурился, торопливо дёрнул тело Володи вверх и удивился, как легко и послушно оно последовало за ним. Вынырнув, он жадно задышал, и теперь ему ничего не нужно и не важно было, кроме как дышать и чувствовать, как грудь раз за разом наполняется чистым и сладким воздухом.

Не выпуская Володиной рубашки, он стал подталкивать его к берегу. Плыть было тяжело. Почувствовав дно под ногами, Яшка вылез сам и вытащил Володю. Он вздрагивал, касаясь холодного тела, глядя на мёртвое, неподвижное лицо, торопился и чувствовал себя таким усталым, таким несчастным…

Перевернув Володю на спину, он стал разводить его руки, давить на живот, дуть в нос. Он запыхался и ослабел, а Володя был всё такой же белый и холодный. “Помер”, – с испугом подумал Яшка, и ему стало очень страшно. Убежать бы куда-нибудь, спрятаться, чтобы только не видеть этого равнодушного, холодного лица!

Яшка всхлипнул от ужаса, вскочил, схватил Володю за ноги, вытянул, насколько хватало сил, вверх и, побагровев от натуги, начал трясти. Голова Володи билась по земле, волосы свалялись от грязи. И в тот самый момент, когда Яшка, окончательно обессилев и упав духом, хотел бросить всё и бежать куда глаза глядят, – в этот самый момент изо рта Володи хлынула вода, он застонал, и судорога прошла по его телу. Яшка выпустил Володины ноги, закрыл глаза и сел на землю.

Володя опёрся слабыми руками, привстал, точно собираясь куда-то бежать, но снова повалился, снова зашёлся судорожным кашлем, брызгаясь водой и корчась на сырой траве. Яшка отполз в сторону и расслабленно смотрел на Володю. Никого сейчас не любил он больше Володи, ничто на свете не было ему милее этого бледного, испуганного и страдающего лица. Робкая, влюблённая улыбка светилась в глазах Яшки, с нежностью смотрел он на Володю и бессмысленно спрашивал:

– Ну как? А? Ну как?..

Володя немного оправился, вытер рукой лицо, взглянул на воду и незнакомым, хриплым голосом, с заметным усилием, заикаясь, выговорил:

– Как я… то-нул…

Тогда Яшка вдруг сморщился, зажмурился, из глаз у него брызнули слёзы, и он заревел, заревел горько, безутешно, сотрясаясь всем телом, задыхаясь и стыдясь своих слёз. Плакал он от радости, от пережитого страха, от того, что всё хорошо кончилось, что Мишка Каюнёнок врал и никаких осьминогов в этом бочаге нет.

Глаза Володи потемнели, рот приоткрылся, с испугом и недоумением смотрел он на Яшку.

– Ты… что? – выдавил он из себя.

– Да-а… – выговорил Яшка, что есть силы стараясь не плакать и вытирая глаза штанами. – Ты уто-о… утопа-ать… а мне тебя спа-а… спаса-а-ать…

И он заревел ещё отчаянней и громче.

Володя заморгал, покривился, посмотрел опять на воду, и сердце его дрогнуло, он всё вспомнил…

– Ка… как я тону-ул!.. – будто удивляясь, сказал он и тоже заплакал, дёргая худыми плечами, беспомощно опустив голову и отворачиваясь от своего спасителя.

Вода в омуте давно успокоилась, рыба с Володиной удочки сорвалась, удочка прибилась к берегу. Светило солнце, пылали кусты, обрызганные росой, и только вода в омуте оставалась всё такой же чёрной.

Воздух нагрелся, и горизонт дрожал в его тёплых струях. Издали, с полей, с другой стороны реки, вместе с порывами тёплого ветра летели запахи сена и сладкого клевера. И запахи эти, смешиваясь с более дальними, но острыми запахами леса, и этот лёгкий тёплый ветер были похожи на дыхание проснувшейся земли, радующейся новому светлому дню.

1954

Ночь

Мне нужно было попасть на утиное озеро к рассвету, и я вышел из дому ночью, чтобы до утра быть на месте.

Я шёл по мягкой пыльной дороге, спускался в овраги, поднимался на пригорки, проходил реденькие сосновые борки с застоявшимся запахом смолы и земляники, снова выходил в поле… Никто не догонял меня, никто не попадался навстречу – я был один в ночи.

Иногда вдоль дороги тянулась рожь. Она созрела уже, стояла недвижно, нежно светлея в темноте; склонившиеся к дороге колосья слабо касались моих сапог и рук, и прикосновения эти были похожи на молчаливую, робкую ласку. Воздух был тёпел и чист; сильно мерцали звёзды; пахло сеном и пылью и изредка горьковатой свежестью ночных лугов; за полями, за рекой, за лесными далями слабо полыхали зарницы.

Скоро дорога, мягкая и беззвучная, ушла в сторону, и я ступил на твёрдую мозолистую тропку, суетливо вившуюся вдоль берега реки. Запахло речной сыростью, глиной, потянуло влажным холодом. Плывущие в темноте брёвна изредка сталкивались, и тогда раздавался глухой слабый звук, будто кто-то тихонько стукнул обухом топора по дереву. Далеко впереди на другой стороне реки яркой точкой горел костёр; иногда он пропадал за деревьями, потом снова появлялся, и узкая прерывистая полоска света тянулась от него по воде.

Хорошо думается в такие минуты: вспоминается вдруг далёкое и забытое, обступают тесным кругом когда-то знакомые и родные лица, и мечты сладко теснят грудь, и мало-помалу начинает казаться, что всё это уже было когда-то… Будто проходил уже прохладными от сырости оврагами и сухими борками, и река темнела, с плеском обрывались в неё куски подмытого берега, тихонько стукались плывущие по воде брёвна, появлялись и исчезали чёрные стога сена, и деревья с искривлёнными в немой борьбе ветвями, и зарастающие тиной озерца с чёрными окнами… Только никак не вспомнить, где же, когда это было, в какую счастливую пору жизни.

Я шёл уже часа полтора, а до озера было ещё далеко. Ночью тяжело идти: надоедает спотыкаться о корни и кротовые кучи, устаёшь от боязни сбиться с дороги, заблудиться в незнакомом лесу. Я почти жалел уже, что ушёл ночью из дому, и думал, не присесть ли под деревом, не подождать ли рассвета, как вдруг до меня донёсся тонкий дрожащий звук, похожий на песню. Я остановился, прислушался… Да, это была песня! Слов нельзя было разобрать, слышалось только протяжное “о-о-о-о… а-а-а-о-о”, но я обрадовался этому голосу и на всякий случай прибавил шагу. Песня не приближалась и не удалялась, а всё так же тянулась тонкой запутанной нитью. “Кто это? – думал я. – Сплавщик? Рыбак? Охотник? А может быть, как и я, идёт ночью, идёт впереди меня и, чтобы не было скучно, поёт?”

Я пошёл быстрее, выдрался из елового колка, прошёл осиновым подлеском и наконец внизу, в небольшом распадке, окружённом со всех сторон густым лесом, увидел костёр. Возле него, подперев рукой голову, лежал человек, смотрел в огонь и негромко пел.

Спускаясь вниз, я споткнулся, громко затрещал валежником, человек у костра замолчал, живо повернулся, вскочил и стал вглядываться в мою сторону, загораживаясь ладонью от костра.

– Кто тут? – вполголоса испуганно спросил он.

– Охотник, – ответил я, подходя к костру. – Не бойтесь…

– А я и не боюсь. – Он сделал равнодушное лицо. – Мне что! Охотник так охотник…

Человек, на чью песню я так спешил, оказался кривоногим парнем лет шестнадцати. Он был некрасив, с худой кадыкастой шеей и большими оттопыренными ушами. Одет он был в телогрейку, замасленные ватные брюки и кирзовые сапоги. На голове, будто приклеенная, сидела маленькая кепочка с коротким козырьком.

Несколько секунд он пристально разглядывал меня, потом с видимым любопытством спросил:

– За утями идёте?

– Да вот хочу на озеро пройти, – сказал я, снимая ружьё.

– Это на какое же?

Я объяснил.

– Ну, тут близко! – успокоил он меня и, повернув голову к реке, прислушался.

– Это не вы сейчас кричали? – спросил он немного погодя.

– Нет… А что?

– Не знаю, кричал кто-то… Крикнет, помолчит, опять крикнет… Я хотел было идти, да Лёшка забоялся, брат мой…

Он снова замолчал, и я услышал частые лёгкие шаги. Кто-то бежал от реки сюда, к костру.

– Семён, Семён! – послышался испуганный и восторженный мальчишеский голос. Из темноты на свет костра выскочил мальчик лет восьми в большой, не по росту, телогрейке. Увидев меня, он сразу остановился и, приоткрыв рот, стал переводить взгляд с меня на Семёна.

– Ну что? – лениво спросил Семён.

– Ой, Семён! Сидит ктой-то! – Мальчик снова посмотрел на меня и перевёл дух. – На двух крайних нету, а на средней сидит! Я рукой взялся, а там – ходит!

– Врёшь!

– Большая рыбина ходит! – И он сделал рукой волнообразное движение, показывая, как “ходит”.

Семён вскочил, подтянул штаны и, пробормотав: “Я сейчас!” – пропал в темноте. Мальчик некоторое время, не моргая, смотрел на меня, потом, не отводя от меня взгляда, ступил назад раз, ступил другой, повернулся и тоже бросился в темноту – только ноги затопотали.

Скоро я услышал странную возню, приглушённые голоса, плеск воды; затем всё стихло, раздались шаги, и ребята вернулись к костру. Семён нёс на вытянутой руке небольшую стерлядку. Стерлядка слабо шевелила хвостом.

Запихнув рыбу в полотняную сумку, Семён сел возле меня и, улыбнувшись, сказал:

– Вот так и ловим. Три штуки уже поймали.

– Одну я вытащил, – прошептал мальчик и, потупившись, стал теребить пуговицу на телогрейке.

– Но-но! – веско произнёс Семён и зловеще замолчал. Мальчик засопел и ещё больше смутился.

– Брат мой, – отрекомендовал мне его Семён. – Лёшка. Вы не глядите, что он тихий, – притворяется…

Лёша пробубнил себе что-то под нос.

– Что? – Семён широко открыл глаза. – Что ты сказал?

– Ничего… – испугался Лёшка.

– Смотри у меня! – Семён исподлобья глянул на меня, и вдруг мгновенная озорная улыбка осветила его лицо, блеснули глаза, сверкнули зубы, даже уши сдвинулись. Лёша тоже фыркнул, но тотчас спохватился и ещё ниже опустил голову. Семён полез в карман, немного помедлил, вытащил наконец измятую пачку папирос, закурил и предложил мне. Я отказался.

– Не курите, значит? – сожалеюще сказал Семён и покосился на Лёшу. Потом облокотился, сладко зевнул, поёжился и замер, мечтательно глядя в огонь. Лицо его затуманилось и приняло то тёплое, неопределённое и поэтическое выражение, какое бывает у людей, думающих о чем-то неясном, но очень хорошем. Костёр потухал, угли, остывая, подёргивались красноватым пеплом; кругом стояла глухая ночная тишина, только наверху, где-то в кустах, позванивая боталом, бродила лошадь.

Лёша внезапно поднял голову и прислушался.

– Идёт ктой-то, – боязливо выговорил он и пересел ближе к Семёну.

– Ерунда! – сказал Семён и покосился на моё ружьё. Несколько секунд прошли в безмолвии, затем явственно послышался хруст валежника. Семён загадочно посмотрел на меня и напряжённо усмехнулся.

– Медведь, наверно, – прошептал Лёша и ещё ближе подвинулся к Семёну. Глаза его с расширенными зрачками стали огромными.

– Полуношничаем, рыбаки? – неожиданно громко раздался хрипловатый голос, и к костру, как-то сразу обозначившись, подошёл пожилой человек с ружьём. Не взглянув на нас, он вытянул ногу к огню и стал, огорчённо покряхтывая, разглядывать оторвавшуюся подмётку.

– Ах, будь ты неладна, – бормотал он. – Вот оказия, а? Ну что, угадал я? Рыбачите? – снова обратился он к нам и поднял голову. – Э-э, да тут знакомые! – Он улыбнулся ребятам. – Что же, много наловили?

Семён воровато бросил папироску в костёр и строго посмотрел на Лёшку. Тот фыркнул.

– Маловато, Пётр Андреич, – смущённо заулыбался Семён. – Разве вот под утро что будет…

– А ну, покажь, покажь…

Семён с готовностью вывалил рыбу из сумки.

– А, стерлядки, – с удовольствием выговорил Пётр Андреевич. – Ну и хорошо. Мелковаты только.

– Раз на раз не приходится, Пётр Андреич.

– А конешно, – охотно согласился Пётр Андреевич и задумался. Глядя в огонь, будто уйдя от нас куда-то, он машинально полез в карман, вынул папиросы, закурил, бросил спичку в костёр и всё так же бездумно проследил, как она горела маленьким ярким пламенем и, погаснув, растаяла, слилась с розовым пеплом.

Был он не стар, но с глубокими морщинами на щеках, губы тонкие, нос длинный и тоже тонкий, лоб – шишковатый, узкий. Вообще, лицо его производило впечатление чего-то жестокого, напряжённого. Ружьё у него было старое, одноствольное, с перетянутым проволокой прикладом, из сапога с оторвавшейся подмёткой выглядывала портянка…

– А вы что, или на Суглинки идёте? – спросил вдруг Семён.

– А? – вздрогнул Пётр Андреевич. – На Суглинки? Почто на Суглинки? Бреду дальше…

– А то ваш механик давеча полную сумку приволок оттуда.

– Двух щук поймал на дорожку, – вставил Лёша. – Бо-ольшие щуки.

– Это Попов-то? – спросил Пётр Андреевич. – Ну, ему хорошо – он с собакой. Нет, я дойду до Овшанки, а там полевее, аккурат у реки, озерцо есть, маленькое озерцо-то…

– Около Овшанки? – задумчиво переспросил Семён. – Нет, в тех краях не был я… Не приходилось. Я всё больше по этому берегу места знаю.

Снова помолчали. Пётр Андреевич переступал с ноги на ногу, негромко покашливал. Лёша свернулся калачиком возле брата. Ему было очень хорошо, это проглядывало решительно во всём: в уютной позе, в блеске глаз, частой улыбке…

– Не знаешь, перевозчик у себя? – спросил Пётр Андреевич.

– У себя. Давеча проплыл вверх. С гармошкой плыли… Гуляют они. Сын женился. Мотьку Медуницыну из второго цеха взял.

– Это рябенькая такая?

– Она. Чего он хорошего в ней нашёл? Я бы не женился на такой…

– Ну, ты ещё в этих делах не понимаешь, – усмехнулся Пётр Андреевич и повернул голову в сторону перевоза, как бы надеясь услышать гуляние. – Так гуляет, говоришь, перевозчик-то? А он перевезёт ли меня? – обеспокоился вдруг он. – Не повезёт, пожалуй, а? А то – повезёт, да и утопит? Пьяные, наверно, все…

Семён тоже повернулся в сторону перевоза.

– Кто её знает, – сказал он неуверенно. – Да вы лодку-то сами отвяжите да и переедете. У него ведь их три, лодки-то.

– А и верно! – Пётр Андреевич засмеялся и посмотрел на свой сапог.

– А тут ещё тоже холера! Подошва-то напрочь отскочила. Нет ли верёвочки? Иду, понимаешь, темень… О корень споткнулся, будь ты неладна, – только трыкнуло!

Лёша вытащил из-за пазухи кусок бечёвки. Пётр Андреевич взял его, подёргал и стал перевязывать головку сапога.

– Вы на что ловите-то? – невнятно спросил он.

– На подойник, – быстро ответил Семён. – На миногу.

– На миногу? Это хорошо, на миногу, она её любит, стерлядка-то. А тут я иду, смотрю, на той стороне волки воют. Не слыхали? Подрос, видно, молодняк-то.

– У наших соседей, – оживился Лёша, – волк козу утащил. Прямо днём! Коза-то старая была, худая. Как он её схватил, она мемекнула – и готова! А он через огород да в поле, да полем, полем в лес… Дядя Фёдор с топором выскочил, глянул да как топором в стенку саданёт! Так и сейчас в стене торчит, никто вынуть не может…

– Это верно, было такое дело, – подтвердил Семён. – А то ещё было: иду я тут как-то с рыбалки, а уж вечер, смерклось… Так только, немного на закате желтеет, да дорога видна хорошо. И вот прошёл я лесок, что за кладбищем – знаете? – и будто кто меня толканул: оборотился я и сперва не разобрал, а после гляжу, возле кустов будто темнеет что и глаза горят, ровно гнилушки. Трое их, значит, сидят и на меня глядят, а у меня ноги сразу встали, как другой раз во сне бывает: хотел бы бежать, да не могу, и потом ошибло. Думал – конец, но обошлось. Не тронули.

– Летом они к человеку смирные, не трогают, – уверенно сказал Пётр Андреевич.

– Дядя Петь… – начал Лёша, взглянул на нас и улыбнулся. – А ведь мы на вас думали – медведь! идёт похрястывает…

– Кто думал-то? – Семён пожал плечом. – Сам думал, так на других не вали.

– Нет, ребятки, – улыбнулся Пётр Андреевич. – Медведь на огонь не полезет. Хотя и так рассудить: кто тут по ночам бродит? Только медведи да охотники… Тоже охотник? – обратился он ко мне. – Может, места здешние не знакомы вам, так пойдёмте со мной. Не хотите? Ну-ну… Конешно, всякий ко своему месту стремится.

Пётр Андреевич посмотрел на звёзды, протянул широкую тёмную ладонь Семёну.

– Прощай покуда. Побреду, а то скоро светать начнёт. Да! Ведь я слыхал тебя прошлый раз в клубе-то… Отец небось гордится? Молодец!

Он похлопал Семёна по плечу, кивнул нам с Лёшей и пошёл во тьму, осторожно ступая перевязанным сапогом. Семён сидел, низко опустив голову, ковырял мозоли на ладони, хмыкал. Уши его потемнели.

Лёша вдруг потянулся, выгибаясь всем телом, зевнул и потёр глаза.

– Спать охота, – заявил он.

– Ну и спи. – Семён почесал брата за ухом. – Спи.

– Да, – Лёша недоверчиво улыбнулся. – А сам утром пойдёшь проверять и не разбудишь.

– Да разбужу, вот чудашка!

– Дай честное комсомольское!

Семён взглянул на брата, снисходительно улыбнулся и лёг на спину. Было примерно около двух часов, тьма стала как будто ещё плотнее, хотелось лечь и смотреть попеременно в огонь, на звёзды, на едва видные ближние деревья, слушать редкие и неясные ночные звуки, гадая, птица ли перепорхнула, шишка ли упала, или так что померещилось…

– Лёшка! – встрепенувшись, сказал Семён. – Тащи дров!

Лёша вскочил, исчез во тьме, громко затрещал сучьями и скоро принёс целую охапку сушняку. Отобрав сучья поменьше, он навалил их на костёр, сел на корточки и, выпучив глаза, стал раздувать огонь. Он дул так сильно, что от костра полетели угольки, тучей поднялся пепел.

– Гляди, лопнешь, – серьёзно заметил Семён.

Лёша поднял голову, взглянул на нас бессмысленным взглядом и продолжал дуть с неистовой силой. Наконец сучья все разом ярко вспыхнули, затрещали, вверх полетели крупные искры. Стало горячо, и мы, жмурясь, отодвинулись от огня.

Я полюбопытствовал, за что хвалил Семёна Пётр Андреевич. Семён смутился и опять принялся за свою ладонь.

– Да так, вообще… – пробормотал он.

– Он у нас всякую музыку сочиняет, – охотно сказал Лёша. – У нас в школе даже два раза играл и в клубе…

– Ну? – повернулся к нему Семён. – Дальше что?

– Ничего…

– Тогда помалкивай!

Семён кинул на меня быстрый испытующий взгляд и нехотя признался:

– Вообще-то, конечно, любитель я этого дела.

– Ему батя баян купил, – опять не вытерпел Лёша. – Он знаете как на баяне играет! Он что хочешь вам сыграет!

– Это верно, – подтвердил Семён и вздохнул. – Верно, играю. А только у меня мечта есть, такая мечта! Как песня раскрывается? Ведь песню-то, её можно всяко повернуть, и сыграть её можно, как никто не играл. Правильно я говорю? Я как играю? Беру мелодию и прибавляю к ней ещё голос, и вот песня уже сама по себе, а голос вроде сам по себе. А можно, ежели мало, ещё один голос прибавить, и тогда уж получится совсем иная музыка. Но и тут не всё. Это только правая рука, а в левой – там гармония. Аккорды, значит. Возьмёшь аккорд, вроде и хорошо, но ежели прикинуть на тонкий слух, то чистоты настоящей и вкусу нету. Нету истинной чистоты! А песня, особо ежели долгая, она должна свой запах иметь, как вот река или лес. Я вот беру в клубе сборники для баяна. Ну, сыграю и вижу: не то! Схватит меня за сердце, не могу я, ну, совсем не могу – и начинаю по-своему перекладывать…

Он вдруг подозрительно вгляделся в меня, стараясь угадать, не смеюсь ли я над ним. И, успокоенный, продолжал, часто моргая, шевеля пальцами тёмных рук:

– У меня мечта есть… Сочинить одну вещь, чтобы вот такую ночь изобразить. А что? Лежу ночью у костра, и вот у меня в ушах так и играет, так и мерещится. А сочинил бы я так: сперва, чтобы скрипки вступили тонко-тонко. И это была бы вроде как тишина. А потом ещё и скрипки тянут, а уже заиграет этот… английский рожок, таким звуком – хриповатым. Заиграет он такую мелодию, что вот закрой глаза и лети над землёй куда хочешь, а под тобой всё озера, реки, города, и везде тихо, темно. Рожок играет, а виолончели ему другой голос подают, поют они на низких струнах, говорят, вроде как сосны гудят, а скрипки всё своё тянут и тянут тихонько. Тут и другие инструменты вступают, и все вместе играют громче и громче: “Ту-ру-рум, та-та-та…” И заиграет весь оркестр необыкновенную музыку! Главное, чтоб там инструменты были, которые, как колокольцы, звенят. Ну, а после надо понемногу инструменты убирать, и будет всё тише и тише, и окончат опять же одни скрипки, долго будут тянуть, пока совсем не замрут…

Семён смотрел в темноту, моргал, облизывал пересохшие губы.

– А ещё, – продолжал он, – надо будет колокол добавить, чтобы он звонил равномерно. Только потихоньку. А как луна из-за леса выходит, ведь это можно изобразить?.. А назову я её “Ночь”. Или нет! Надо, чтобы покрасивше было… Вот лучше: “Ночная сказка” или “Ночная звезда”… Я вот рассказать вам не могу про ночь и всё такое, ну звёзды там или туман над рекой. А в музыке я всё могу, на сердце щемит у меня, лягу спать – не сплю, а засну – часто

такая музыка играет! Проснусь – всё хочу вспомнить, и не вспомнишь… Учиться надо, это уж обязательно! Я лебёдчиком работаю, лес на берег выкатываю. Сижу я, рычагами кручу, зазвенит лебёдка, или автомашина просигналит, или гудок на обед прогудит, а я тренируюсь, звуки определяю, какой звук: “до” там или, может, “фа-диез”…

Семён замолчал, смущённо улыбнулся и стал поправлять костёр. Неожиданно что-то странное и мощное родилось в воздухе, родилось, нарушило ночную глушь, всколыхнуло настоявшуюся звёздную тишину, пронеслось по реке.

– Э-ге-ге-е-е… – донёсся к нам низкий могучий вопль.

Мы сразу повернулись к реке и первое мгновение недоуменно прислушивались. Тишина… И опять незримо пролетел мощный крик:

– Э-ге-ге-е-е…

– Сплавщики голос пробуют! – облегчённо засмеялся Семён. – Правда, здорово? По реке звук далеко разносится. Лодка ночью плывёт, так за версту слыхать, как вёсла скрипят. А то в другой раз такое послышится, что и не поймёшь, что такое. Вроде крикнет кто или вздохнёт, или вот так тихонько: “Тииу, тииу, тииииу”.

Он очень похоже изобразил странный звук, который и я часто слышал ночью на берегу рек и болот и никак не мог догадаться, что бы это значило.

– Лёшка боится, а я нет, – улыбнулся Семён. – Скучно, правда, одному, а так – хорошо!

– Никого я не боюсь! – сказал вдруг громко Лёшка и прищурился.

– Не боишься? А ну-ка, сходи сейчас на Хлыстово болото, принеси мне оттуда метёлок. Ну? Сходи, сходи!

Лёша повёл ртом, оглянулся назад в темноту и засмеялся. Семён помолчал немного.

– Народ здесь сильный ужасно, – снова начал он. – Есть ребята силы такой, что хоть кого хочешь побьют. Вы думаете, этот сплавщик по делу кричал? А он просто так: на берег выйдет и орёт, слушает, как его голос по лесам раздаётся.

– Дядь, а дядь! Стрельните! – попросил внезапно Лёша и жадно посмотрел на моё ружьё.

– А ты сам стрельни, – ответил я, подавая ему ружьё.

– Баловство! – недовольно сказал Семён. – Только патрону перевод.

Но в глазах его зажглось такое же, как и у Лёши, острое любопытство. Лёша огляделся, увидел высокий осиновый пень невдалеке и через секунду уже старательно укреплял на этом пне свою старую шапку.

– Погоди! – строго остановил его Семён. – Сейчас огонь раздуем, виднее будет.

Он навалил на костёр хворосту. Пламя померкло, пополз густой розовый дым, потом тонкие голубоватые язычки стали там и сям выскакивать наверх, наконец сразу занялась вся куча.

– Давай! – скомандовал Семён и, отгородившись от огня ладонью, уставился на пень с шапкой.

Лёша стал целиться. Целился он страшно долго, шмыгал носом, переводил дыхание, смотрел на курок, на палец… Ожидание выстрела становилось тягостным, и я заметил, как напряглась у Семёна рука, а глаза прищурились, будто он смотрел на яркий свет.

– Да скоро ты… – не выдержал он.

Но в этот момент ружьё в руках Лёши подбросило вверх, сверкнул длинный голубоватый сноп пламени, оглушительно бахнул выстрел, шапка исчезла, а эхо пошло перекатами по реке и лесам. Наверху испуганно всхрапнула лошадь, зазвенело ботало, затрещали кусты. Лёша бросил ещё дымившееся ружьё и стремительно кинулся в темноту.

– Здорово! – восхитился Семён и потянулся навстречу Лёше, возвращавшемуся с шапкой. – Вот это бьёт!

Шапка была торжественно исследована при свете костра. В неё попало несколько крупных дробин, и вата клочьями торчала из подкладки.

Семён задумался.

– Знаете что? – обратился он ко мне. – Хотите, поведу я вас на такое место, в каком отродясь никакие охотники не бывали? Возьму отгул, у дяди ружьё выпрошу, эх, и закатимся мы с вами дня на два! Тайное место, птица там непуганая. Идёшь по лесу – направо рябчики, тетери, глухари, налево – озеро, а на том озере гуси и крякуши открыто плавают и на выстрел допускают близко, а после выстрела никуда с озера не улетают, только отлётывают малость. Там я был один раз с дядей и дорогу туда помню. Никого там нету: ни охотников, ни ягодниц, а только одни медведи по малину ходят. Медведи смирные, из-за кустов поглядывают. А брусника там растёт такая, что ежели выйти на гарь да поверху кочек глянуть, то все кочки кажутся красными. Земляника растёт, и землянику ту никто не берёт, и вся она чёрная, переспелая и такая сладкая – слаще сахара! Войдёшь в смородиновые кусты – такой в них крепкий дух, что голова кружится. А ежели по кустам идёшь, то тетери и глухари совсем близко подпускают, а потом только – тых, тых, тых! – взлетают, и ветер от них аж в лицо дует. Ещё там белки в лесу скачут, только они сейчас рыжие, шерсть у них никудышная, и мы их не бьём. А ещё там под косогором, ежели через завалы переберёшься, овраг перелезешь да вниз спустишься, родник есть, ключ по-нашему, и сколько я разной воды перепил, но такой никогда не пил, и вода там, надо думать, лечебная…

Лёша тем временем всё крепился, крепился, не выдержал, жалко скривил лицо, шмыгнул носом и затянул отчаянно:

– Семё-ён…

– Ну? – Семён с удивлением посмотрел на брата.

– Семён, возьми меня-я… – тянул Лёша, и было видно, что страдает он невыносимо.

– Как? Взять? – с сомнением спросил меня Семён. Большие мокрые глаза Лёши тотчас уставились на меня. Я задумался. Я думал долго и мрачно.

– Взять? – снова с сомнением повторил Семён и критически осмотрел Лёшу. Тот покривился и крепко сжал задрожавшие губы.

– Возьмём! – решил я наконец.

Лёша тоненько засмеялся, вскочил и вытер длинным рукавом глаза.

– Ага! – торжествующе закричал он. – А вот и пойду, а вот и пойду!

И он, победоносно глядя на Семёна, стал приплясывать возле костра, на разные лады повторяя: “Что? А вот и пойду! Что? А вот и пойду!”

Я оглянулся. Небо на востоке посветлело и чуть отливало зеленью. Пала роса, и воздух посвежел. Деревья определились. Нет, света ещё не было, но с каждой минутой всё виднее становились отдельные кусты, ветки, ёлки, даже шишки. Ночь кончилась, наступал самый ранний полурассвет, то время утра, когда петухи в деревне, хрипло прокричав своё “кукареку”, ещё крепче засыпают.

Мне пора было идти. Я взял ружьё и попрощался с ребятами.

Едва я отошёл от костра, как сырой холодный воздух охватил меня со всех сторон и сапоги заблестели от росы. Сорока неслышно сорвалась с вершины белёсой ели, быстро и молча полетела, ныряя на лету, на восток, навстречу рассвету.

Я успел уже порядочно отойти – взобрался на гриву, отыскал тропу и зашагал к озеру, когда меня опять настигла песня Семёна. И снова не разобрать было слов, не уловить мелодии, но я знал теперь, что песня эта прекрасна и поэтична, потому что рождена чистым талантом, красотой меркнущих звёзд, великой тишиной и ароматом увядающего лета.

– А-а-а-а… О-о-о-а-а… – дрожал далёкий человеческий голос, а внизу подо мной сонно журчала река, тихонько стукались друг о друга плывущие по воде брёвна, и мне казалось почему-то, что на реке, скрываясь в полупрозрачных завитках тумана, тихо сидит в лодке мудрый человек и стукает обухом топора по плывущим мимо брёвнам, стараясь по звуку угадать их крепость и чистоту.

1955

Некрасивая

Свадьба была в самом разгаре. Жениха с невестой давно свели в другую избу, прокричали по деревне первые петухи, а гармонист всё играл, изба дрожала от дробного топота, ослепительно и жарко горели пять ламп, и на окнах ещё висели неугомонные ребята.

Много было выпито и съедено, много пролито слёз, много спето и сплясано. Но каждый раз на стол ставилась ещё водка и закуска, гармониста сменял патефон с фокстротами и танго, топот и присядку – шарканье подошв, и веселье не убывало, всё слышнее становилось на улице и ещё дальше, в поле и у реки, и теперь во всех окрестных деревнях знали, что в Подворье гуляют.

Всем было весело, только Соне было тяжело и тоскливо на душе. Острый нос её покраснел от выпитой водки, в голове шумело, сердце больно билось от обиды, оттого, что никто её не замечает, что всем весело, все в этот вечер влюблены друг в друга, и только в неё никто не влюблён и никто не приглашает танцевать.

Она знала, что некрасива, стыдилась своей худой спины и столько уж раз давала зарок не ходить на вечера, где танцуют, и поют, и влюбляются, но каждый раз не выдерживала и шла, всё надеясь на какое-то счастье.

Даже раньше, когда она была моложе и училась в институте, в неё никто не влюблялся. Её ни разу не проводили домой, ни разу не поцеловали. Она окончила институт, поехала работать в деревню, ей дали комнату при школе. Вечерами она проверяла тетради, читала, учила на память стихи о любви, ходила в кино, писала длинные письма подругам и тосковала. За два года почти все подруги её вышли замуж, а у неё за это время ещё больше поблекло лицо и похудела спина.

И вот её, словно в насмешку, пригласили на свадьбу, и она пришла. Она жадно смотрела на счастливую невесту, вместе со всеми кричала слабым голосом: “Горько!” – и ей было действительно горько от мысли, что своей свадьбы она никогда не сыграет.

Её познакомили с ветеринарным фельдшером Николаем, мрачным парнем с резким красивым лицом и чёрными глазами. Их посадили рядом, и он пробовал сначала ухаживать за ней. Соня пила и ела всё, что он предлагал, благодарила взглядом, и ей казалось, что взгляд её выразителен и полон интимной нежности.

Но Николай почему-то всё больше мрачнел, скоро перестал ухаживать за ней, начал заговаривать с кем-то через стол. Потом он совсем ушёл от неё, много плясал, вскрикивая, болтая длинными руками, изумлённо озирался кругом, подходил к столу, пил водку. А после вышел в сени и больше не вернулся.

Теперь Соня сидела одна в углу, думала о своей жизни, презирала всех этих довольных и счастливых, пьяных, потных, презирала и жалела себя.

Недавно она сшила платье, очень хорошее тёмно-синее платье. Все хвалили его и говорили, что оно ей к лицу. И вот платье не помогло, и всё осталось как было…

Часа в три ночи Соня, всеми забытая, несчастная, с красными пятнами на щеках, вышла в сени и оттуда – на крыльцо.

Избы стояли чёрные. Деревня спала, везде было тихо, только из открытых окон избы, где гуляли, неслись в темноту пронзительные звуки гармошки, крики и топот ног. Свет пятнами падал на траву, и трава казалась рыжей.

У Сони задрожал подбородок. Она закусила губу, но это не помогло. Тогда она сошла с крыльца, еле смогла дойти до берёзы, нежно белеющей в темноте, привалилась к ней плечом и зарыдала. Ей было стыдно рыданий, она боялась, что услышат, и, чтобы не услышали, зажала в зубы душистый платок. Но её никто не слышал. “Ну, довольно! – говорила себе Соня, крепко

закрывая глаза. – Ну, хватит же! Больше не надо! Нужно идти!" И она хотела идти, откачивалась от берёзы, а ноги не держали её, и идти она не могла.

– Что такое? – громко спросил кто-то сзади.

Соня затаила дыхание, быстро вынула изо рта платок, вытерла о плечо лицо, не отпуская берёзы, стыдливо оглянулась. Это был Николай. Его качало, чтобы не упасть, он схватил её за плечо. Рука его была перепачкана землёй.

– А! – пьяно сказал он. – Это вы? А я… на огороде… был. – Он качнулся и прижался к ней. – На свадьбу, сволочь, пригласил! – с усилием выговорил он. – А! Убью! Теперь всё! Литром хотел откупиться… Врёшь, гад! Меня не купишь!

Николай заскрипел зубами и матерно выругался.

– Вам плохо? – испуганно спросила Соня. – Хотите воды?

– Кого? Мутит меня…

Он оторвался от Сони и пошёл за угол. Соне стало его жалко. Она принесла из сеней ведро воды, стала поливать ему на голову. Он покорно нагибался, фыркал, бубнил что-то невнятное.

Потом с мокрой головой, в рубашке, он сидел на крыльце и курил, а Соня отмывала пиджак.

– Вам легче теперь? – тихо спросила она, боясь, что кто-нибудь выйдет и увидит её.

– Малость полегчало… Чего это я вас раньше не видел? Я тут всех знаю.

– Я редко хожу на гулянки.

– А! Вы при школе живёте?

– При школе.

– Провожу, желаете?

Николай встал, надел пиджак, помотал головой и пошёл в сени напиться.

– Вы чего плакали-то? – спросил он, вернувшись. – Обидел кто?

У Сони благодарно забилось сердце. Она опустила голову.

– Нет, никто не обидел…

– А то вы скажите! Если кто тронул, я ему, гаду, рёбра поломаю! – Николай взял Соню под руку, они перешли пыльную дорогу, свернули налево, пошли тропинкой мимо плетней и огородов. Роса уже пала, трава была мокрой.

Соне хотелось смеяться. Она была для себя сейчас как чужая. Ей хотелось положить голову Николаю на плечо, но она стыдилась этого желания, а когда Николай, качнувшись, прижимался к ней, она поспешно отстранялась.

– Послушайте, вы совсем пьяный! – с нежным укором, как старому знакомому, говорила она ему.

– Ну да! – Николай тёр себе рукою лицо. – Какой там пьяный.

Они подошли к школе и поднялись на крыльцо. Соня растерялась. Она не знала, что делать: уйти сразу или постоять? Сначала она хотела уйти, но, испугавшись, что Николай обидится, осталась.

Николай почему-то опять опьянел, сипло дышал, держал Соню за руку.

– Ну, расскажите же что-нибудь, – попросила она, поднимая к небу бледное в темноте лицо.

– Чего там рассказывать?.. – хрипло сказал он, схватил её, сжал так, что хрустнули кости, и стал целовать мокрыми губами.

– Пустите! – шептала она, вырываясь. – Пустите!

– Тихо! – говорил он шёпотом, толкал её в тёмные сени. – Тихо! Чего ты, ну чего ты, дура!

В сенях он прижал её к стене.

– Коля… Успокойся, милый! Боже мой, что же это?

– Любишь меня? – бормотал Николай. – У, собака!

– Не надо, Коля, не надо! – сказала она вдруг так печально, что Николай выпустил её.

Отдышавшись, он покашлял немного, закурил, посмотрел при свете спички ей в лицо.

– Ну ладно… – сказал он. – Не сердись! Ты вот что… Ты приходи завтра к риге. Придёшь?

– Когда? – спросила шёпотом Соня, вся дрожа.

– Часов в семь. Ладно?

– Приду…

– Ага… – Николай несколько раз жадно затянулся, бросил окурок, долго притаптывал его каблуком. – Ну, пока!

Он ещё раз поцеловал её, но уже спокойно, помял ей ладонью лицо, сошёл с крыльца и пропал в темноте. Через минуту он запел. Песня была пьяной и фальшивой.

Дома Соня осторожно ходила по комнате, раздевалась, пила холодный чай. Раздевшись, в одной рубашке, она подошла к зеркалу, долго с грустью смотрела на своё лицо, острые плечи и ключицы. “Боже мой, какая я страшная! – подумала она и вздрогнула. – Надо пить рыбий жир! Обязательно рыбий жир!”

Она полезла в стол и прямо из маслёнки стала есть сливочное масло. Масло было ей противно, но она глотала его ложками и думала о Николае. Потом она потушила свет и легла, но заснуть не могла. В Москве, против её дома, горел фонарь, росли липы, и тени от них всю ночь трепетали на стёклах. Здесь за окном была глухая тьма.

– Это любовь? – спрашивала вслух Соня и поворачивалась к стене.

Весь следующий день Соня была сама не своя. С утра пошёл было дождь. Диктуя ребятам какой-то отрывок, Соня с испугом смотрела в окно на мокрых кур и лужи. Но дождь прошёл, небо очистилось, и к вечеру проезжающие мимо школы автомашины оставляли уже за собой хвосты пыли.

После работы Соня села писать подруге. Она писала о том, что вчера один парень провожал её и сегодня назначил свидание. Письмо получилось большим и весёлым. Окончив его, Соня почему-то решила, что влюблена в Николая. Она отнесла письмо на почту, пришла и легла, повернувшись к стене.

Она думала, придёт Николай или нет, а если придёт, то как будет держать себя и что говорить. Ещё со страхом думала она, что ей делать, если он опять станет целовать её. Эти мысли так расстроили её, что у неё тряслись руки, когда она стала одеваться.

Она надела вечернее тёмно-синее платье, завила немножко волосы и надушилась. Ладони её потели.

Когда она шла по деревне, ей казалось, что из всех окон на неё смотрят и что все знают, куда и зачем она идёт. Ей было стыдно, она хотела прибавить шагу и не могла. Только в поле она вздохнула свободнее. Было тепло, дорога слегка пылила, солнце опускалось в багровую дымку. На меже, близ дороги, стоял трактор. Замасленный тракторист ковырялся в моторе. Увидев Соню, он разогнулся, вытер о штаны руки, закурил и задумчиво посмотрел ей вслед.

Сойдя в ложок, на дне которого не высыхала никогда исслеженная коровами грязь, Соня вдруг испугалась, что Николай может прийти раньше и уйти, не дождавшись её. Она прибавила шагу, потом побежала.

Она остановилась, когда вдали показалась рига. Никого не было возле риги, и Соня обрадовалась. Она немного передохнула, потом сняла и вытерла травой запылённые туфли. Ей показалось неудобным сидеть со стороны дороги, и она перешла на другую сторону. Там было тепло, от нагревшейся за день стены шёл жар.

Пришёл мальчишка с удочками, стал рыть червей. Соня, покраснев, опять вышла к дороге. По дороге ехали на телегах из города, посматривали в её сторону, а мальчишка, как назло, долго не уходил. Соне стало жарко. Наконец мальчишка, накопав червей, ушёл. Несколько раз он насмешливо обернулся. “Он догадался! – со стыдом думала Соня. – Хорошо, что он не из моей школы!”

Она опять спряталась за ригу, сорвала ромашку. Лепестки у ромашки были опущены, она была похожа на ракету. Соня стала отрывать лепестки. “Придёт, не придёт…” Вышло – не придёт. Хуже всего было, что Соня не знала, откуда придёт Николай. Она вставала, выходила из-за риги, оглядывалась, снова пряталась. Она совсем измучилась, когда показался Николай. Он шёл низом от реки, засунув руки в карманы, в накинутом на плечи пиджаке. Подходя, он с напряжённым вниманием разглядывал Соню, как человек, что-то забывший и силившийся вспомнить. Лицо его делалось всё скучней. Подойдя, он отвёл глаза и вяло протянул руку.

– Привет…

– Здравствуйте, – ответила Соня, не смея поднять глаз.

– Давно ждёте?

– Нет…

– Гм… Ну, зайдём в холодок.

Они обошли ригу и сели на ворохе соломы лицом к дороге. Солнце заходило, всё меркло, тень от риги протянулась через всё поле.

– Благополучно вчера дошли? – спросила Соня, быстро взглядывая на Николая и сочувственно, понимающе улыбаясь.

– Нормально… – Николай зевнул и снял пиджак. – Не выспался только.

– Вы вчера были нехороший, – мягко сказала Соня.

– Чего ещё! – Николай равнодушно обнял Соню, притянул, хотел поцеловать, но раздумал, подышал только за ворот.

– Скоро стемнеет, – заметила Соня, покорно приникая к Николаю и слыша гулкие удары его сердца.

– Как попозднеет, пойдём в горох, а? – Николай мотнул головой куда-то вправо. – Там шалаш есть. Пойдёшь?

– Не надо об этом, Коля, – тихо попросила Соня и вздохнула.

– Эх, – воскликнул вдруг Николай. – Спать охота! Ну-ка, дай прилягу…

Он отодвинулся и лёг, разбросав ноги в сапогах, положил голову Соне на колени. Полежав немного с закрытыми глазами, он закинул руку и схватил Соню за бок.

– Чего это ты худая такая?

Соня перестала на минуту дышать.

– Конституция такая, – насильно улыбаясь, сказала она.

– Ну, конституция! Наверно, больная чем-нибудь. Это как скотина: заболела – как ни корми, всё одни мосляки.

Соне вдруг стало всё безразлично, и она несколько раз сглатывала, чтобы избавиться от противного ощущения тошноты.

– Почему вы такой грубый! – вдруг низко сказала она. – Или вы думаете, что со мной всё можно?

Она резко отвернулась и стала медленно краснеть.

– Не смейте так говорить со мной! Слышите!

Она закусила нижнюю губу и рукавом крепко вытерла глаза. Потом, по-прежнему напряжённо глядя в поле, шевельнула коленями.

– И уходите! Я вам не скотина, снимите голову, слышите! Оставьте меня!

Николай смущённо сел.

– Ну, ну… – забормотал он. – Извиняюсь! Ну вот, знал бы… Не хотел – гад буду! Это по работе – привыкнешь.

– Нет, не по работе, – уже спокойно, грустно сказала Соня и опустила голову. – А потому что…

Она теребила платок, пальцы её дрожали, лица не было видно.

– Потому что вы решили: раз я пришла, так чего же со мной стесняться!

Николай крепко поскрёб в затылке и ничего не сказал.

– Что это вы ругались вчера? – спросила Соня после долгого молчания.

– Так… – Николай нахмурился. – У меня с ним свои счёты. Он, гад, Зойку у меня отбил, женился. Видала вчера невесту? Гулял я с ней…

– Вас, наверное, многие девушки любят, – сказала Соня.

– А! – Николай сморщился, как от кислого, и опять положил голову ей на колени. – Знаю я ихнюю любовь!

– Зачем вы так, Коля? – быстро сказала Соня. – Нужно верить людям! Вы посмотрите, какие чудесные у нас люди!

Николай поднял голову и сплюнул.

– Вы не верите? – упавшим голосом спросила Соня.

– В чего это?

– В чистоту человека.

Николай засмеялся.

– Ох, и любят же бабы воду мутить! Чистота… – Он поворочался, зевнул и закрыл глаза.

От его большой ленивой фигуры, крепкой шеи, неподвижного, жёсткого в наступающих сумерках, красивого лица веяло чугунной силой.

Соня дрожащей рукой стала перебирать волосы Николая, жадно глядела на него, всё ещё стыдясь и краснея.

– Коля!.. Вы ведь хороший, я знаю, у вас душа хорошая, – сказала она еле слышно.

– Обожди! – Он поднял голову и прислушался. Потом сел, опираясь рукой о её колени.

По дороге, тихо разговаривая, шли двое.

– Эй! – крикнул Николай.

– Зачем вы, Коля! – шепнула Соня, пряча лицо.

Шедшие остановились.

– Куда это? – опять крикнул Николай.

– На гулянку. А кто это? Никак Николай!

– Он самый. Где гулянка-то?

– В Сосновке.

На дороге закурили и, посвечивая огоньками, пошли дальше. Николай посмотрел им вслед.

– Погодите! – крикнул он вдруг. – И я с вами!

Он торопливо встал, встряхнул пиджак, накинул на плечи. Потом, кашлянув, протянул руку Соне.

– Ну, пока! Ещё когда повидаемся… – Отвернулся и, придерживая пиджак, рысцой стал догонять тех, на дороге.

Совсем стемнело. Сбоку вылупился тонкий месяц, от реки по лугам пополз прозрачный туман. Звуки умирали, один раз только за ригой что-то пробежало: топ-топ-топ…

Соня сидела, привалясь спиной к стене, подняв кверху лицо. Её трясло. Она стягивала рукой ворот у горла, думала, полегчает, но не легчало. Она пробовала заплакать, но звук, вырвавшийся из груди, был так низок и страшен, что она испугалась, сидела окаменев.

Наконец она встала, держась за стену, постояла немного и пошла домой. Едва отошла она от реки, стало сухо и тепло. Опять шла она мягкой дорогой, но теперь ей светили звёзды. Нежно пахло сеном и придорожной пылью. От сияния Млечного Пути тьмы полной не было, по сторонам виднелись то стога сена, то копёшки льна, то светлело неубранное поле ржи.

– У-у! – сказала Соня всё тем же низким, страшным звуком. – У-у!..

Больше она не могла ничего сказать и ни о чём подумать. Опять спустилась она в сырой ложок, поднялась наверх. Трактор, что давеча чинился у дороги, теперь пахал далеко в поле. Чуть видна была звёздочка его фары, слышен был слабый стрёкот мотора. Потом ей стало

легче. Она вдруг увидела пронзительную красоту мира, и как, медленно перечёркивая небо, валились звёзды, и ночь, и далёкие костры, которые, может быть, чудились ей, и добрых людей возле этих костров, и почувствовала уже усталую, покойную силу земли. Она подумала о себе, что она всё-таки женщина, и что, как бы там ни было, у неё есть сердце, есть душа, и что счастлив будет тот, кто это поймёт. О! Тупой, тупой дурак – какую силу и прелесть чувствовала она в себе, как легко и яростно стало ей, как решительно зашагала и как, наверное, хороша стала в темноте – одинокая под полыхающими, падающими звёздами.

Скоро показалась тёмная деревня. Многие уже спали, в редких избах горел огонь. Из-под ворот вылезла крупная белая собака. Увидев Соню, собака молча забежала сзади, стала нюхать. “А ну! Попробуй укуси!” – задыхаясь от мстительной отваги, подумала Соня и повернулась к ней лицом. Но собака не укусила, только дунула два раза на ноги и побежала в темноту. Соня пошла дальше, и ей стало совсем легко.

1956

Странник

1

Шёл по обочине шоссе, глядя вдаль, туда, где над грядой пологих холмов стояли комковатые летние облака. Навстречу ему туго бил ветер, раздувал мягкую, выгоревшую на солнце бородку. На глаза часто набегали слёзы, он вытирал их грязным, загрубевшим пальцем, опять, не моргая, смотрел вперёд, в слепящее марево. Его обгоняли автомашины, бешено жужжа шинами по асфальту, но он не просил подвезти, упрямо чернел на сером, блестящем посередине от масла шоссе.

Был он молод, высок, немного сутуловат, шагал широко и твёрдо. Резиновые сапоги, зимняя драная шапка, котомка за плечами, тёплое вытертое пальто – всё это сидело на нём ловко, не тяготило и не мешало.

Думал ли он о чём-нибудь, шагая мимо деревень, лесов, мимо рек, зелёных полей и бурых паров? Синие его глаза в красных веках не смотрели ни на что внимательно, ни на чём подолгу не останавливались, блуждали по далям, по белым облакам, заволакивались слезами, потом опять бездумно глядели. Звонко стукала по асфальту ореховая, позеленённая травой палка. Подкрадывались к шоссе кусты, задумчиво подходили большие старые берёзы и вновь неслышно уходили, не в силах скрыть великого простора полей.

Солнце перевалило за полдень, стало жарче и суше, ветер нёс запах тёплого сена, разогретого асфальта, а странник всё так же ходко шагал, постукивал палкой, и неизвестно было, куда он идёт и сколько ещё будет идти.

Наконец он заметил очень далеко справа белую чёрточку – колокольню. А заметив, скоро свернул на пыльный просёлок и пошёл уже медленней. Дойдя до чистой глубокой речки, он сел в тени кустов, снял котомку, вынул яйца, хлеб и стал есть. Жевал он медленно, тщательно оглядывая кусок, прежде чем положить в рот. Наевшись, перекрестился, смахнул с бороды и усов крошки, тяжело поднялся, пошёл к речке напиться. Напившись и вымыв лицо, он вернулся, забрался ещё глубже в кусты, положил котомку под голову, поднял воротник, надвинул на лицо шапку и мгновенно уснул крепким сном сильно уставшего человека.

2

Спал он долго и проснулся, когда солнце село уже за холмы. Протёр нагноившиеся глаза и долго зевал, чесался, оглядываясь и не понимая, где он и зачем сюда попал. Опухшее от сна лицо его не выражало ничего, кроме скуки и лени.

По дороге в сторону шоссе проехала машина с бидонами молока. Странник посмотрел вслед машине, лицо его оживилось, он быстро надел котомку, вышел на дорогу, перешёл мосток над речкой и пошёл к деревне, замеченной им ещё днём.

Справа начались сочно-зелёные темнеющие овсы, потом потянулся двойной рядок ёлок. Солнце скрылось, оставив после себя узкую кровавую полосу заката. Эта полоса светилась сквозь чёрный ельник, и смотреть на это свечение и одновременно черноту было жутко. Странник заспешил, поднимая сапогами пыль. Он боялся темноты и не любил ночи.

А запахи пошли теперь другие. Пахло похолодевшей травой, пылью на дороге, томительно благоухали донник и медовый тысячелистник, от ёлок шёл крепкий смолистый дух. Небо было чисто и глубоко, потемнело, будто задумалось, и ясно был виден слева молочно-белый молодой месяц.

Дорога стала петлять лесом, оврагами. Странник шёл все торопливее, шевелил ноздрями, втягивал воздух по-звериному, часто оглядывался. Раза два он попробовал затянуть песню, но скоро смолкал, подавленный сумеречной тишиной.

Наконец запахло жильём, попалась поскотина, он пошёл спокойнее, зорко глядя вперёд. Скоро разбежались, остались сзади кусты и деревья, и он увидел большую деревню с речкой внизу и церковью на горке. Весь низ у реки был занят скотными дворами, и там, несмотря на подкравшуюся темноту, чувствовалась ещё жизнь, как чувствуется она вечером в улье с пчёлами.

Уже дойдя почти до гумна, странник заметил вдруг идущую снизу, от скотных дворов к деревне, женщину и остановился, поджидая. Когда женщина подошла, странник сдёрнул с головы шапку, поклонился низким поклоном и, кланяясь, пытливо поглядел ей в лицо.

– Здравствуй, мать! Храни тебя Господь, – сказал он глухо и важно.

– И вы здравствуйте, – помедлив, отозвалась она, поправила платок, облизала сухие губы.

– Здешняя?

– Я-то? Здешняя… А вы чей будете?

– Дальний я. Хожу по святым местам. Странник, значит.

Женщина с любопытством оглядела его, хотела спросить что-то, но застеснялась, тихо тронулась дальше. Странник пошёл рядом с ней, сохраняя на лице твёрдость и важность.

– Церковь работает? – спросил он, вглядываясь в золотисто-розовый крест колокольни.

– Церква-то? Где ж работать! Не служат… МТС в ней теперича. Батюшка был, да дюже старый, помер годов уж двадцать.

– В безверии, значит?

Женщина смутилась, снова поправила платок, вздохнула, опустив глаза. Странник искоса глянул на неё. Была она не стара ещё, но с тёмным, заветренным лицом и такими же тёмными руками. Сквозь выгоревшую старую кофту проступали худые плечи, и почти не выделялись плоские груди.

– Где уж! – сокрушённо сказала она. – Молодёжь-то нонче, знаешь какая, не верит. Ну, а у нас тоже работа круглый год да своё хозяйство, ни до чего. Батюшка когда наезжает, молебен на кладбище отслужим, вот и вся наша вера…

– Так… – протянул печально странник. – Эх, люди, люди! Сердце моё болит, глаза бы не глядели на житье ваше! Сами себе яму роете…

Женщина грустно молчала. Улица была темна, только в пруду стекленела вода, плавали вдоль осоки две припозднившиеся утки, жадно глотали ряску, торопясь наесться на ночь.

– Есть тут хоть кто верующий, божьему человеку приют дать? – с тоской спросил странник.

– Это переночевать, значит? Да что ж, хоть у меня ночуйте, места не пролежите.

Больше до самого дома ни странник, ни женщина не сказали ни слова. Только отпирая дверь, она спросила:

– Звать-то вас как?

– Иоанн! – по-прежнему важно и твёрдо сказал странник.

Женщина вздохнула, думая, быть может, о грехах своих, открыла дверь, и они вошли в тёмные пахучие сени, а оттуда – в избу.

– Раздевайтесь, отдохните… – сказала хозяйка и вышла.

Иоанн снял котомку, пальто, стал разуваться. Долго с печальным лицом нюхал портянки, чесал большие набрякшие ступни, осматривался.

Когда снова вошла хозяйка, Иоанн сидел уже в одной рубашке, копался в котомке. Он вынул оттуда Евангелие, толстую тетрадь с надписью “Поминальница святого Иоанна” и большим крестом на обложке, пошарив, нашёл огрызок карандаша, раскрыл тетрадь, подумав, спросил строго:

– Была в сём доме смерть?

Хозяйка вздрогнула, повернулась, пристально посмотрела на странного бородатого человека.

– Была, – негромко сказала она. – По весне сынок у меня помер. Шофёром он работал в колхозе, через реку стал переезжать…

– Имя! – сурово остановил её странник.

– Чего? – не поняла она.

– Имя, имя! Сына имя, – раздражённо прикрикнул он на неё.

– Сыночка-то? Федей звали… Говорили ему, погоди, не ездий, не погниют твои товары – части какие-то для МТС вёз, – стороной объехай, через мост, лёд ведь сейчас тронется… Не послушал, горячий был… Утоп… Сыночек-то – утоп…

– Буду молиться! – перебил её Иоанн, выписывая в тетради крупно: “Фёдор”. – Тебя как звать?

– Настасья…

– Так… Настасья. Одна живёшь?

– Вдвоём. С дочкой. Не дочка она мне, жёнка Федина, да я уж с ней…

– Муж был?

– Был, как не быть… На фронте погиб, в сорок втором…

– Имя?

– Михаилом звали…

– Так… – Иоанн помолчал. – Невестку как звать?

– Люба… Любовь, значит.

– Знаю, – сказал странник, записывая. – Хорошая?

– Это как же? – не поняла Настасья.

– Поведения хорошего? В Бога верует?

– Нет… В Бога не верует, комсомолка, а так не согрешу – хорошая. Зоотехникум кончила, работает, значит, на ферме, да ещё завклубом её поставили. Клуб у нас, так она в нём ещё вечерами. Устаёт – день там, вечер там, да я и не перечу, конечно, скука одной-то, молодая, годочек только и пожили… Сынок-то, Феденька… Из армии пришёл, мамуня, говорит… Мамуня…

Настасья сморщилась, сухие губы её затряслись, по тёмным худым щекам покатились слёзы. Странник сурово молчал.

– Садитесь, повечеряйте… – сквозь слёзы сказала Настасья. – Самовар сейчас вздую…

– Иконы есть?

– Есть… Жены-мироносицы, Троеручица Божья Матерь…

– Где? Проводи.

– Вон на той половине, пойдёмте…

Она отворила дверь в чистую горницу. Иоанн со скучным лицом, тяжело ступая по половикам, пошёл за ней, захватив “Поминальницу”.

– Выйди, – сказал он, увидев иконы. – Молиться буду.

Со стуком опустился на колени, задрал бородку. Настасья тихонько вышла.

– Господи! – глубоким голосом воскликнул Иоанн. – Господи!

И замолк, засмотрелся в окно на неподвижные яблони.

Настасья собирала на стол, звякала посудой. Эти тихие звуки, эти долгие летние сумерки были странно приятны ему, сладко трогали сердце. Сколько деревень он повидал, где только не ночевал! Все было разное везде: люди, обычаи, говор… И только сумерки, запахи жилья, хлеба, звуки везде были одинаковые.

Смотрел Иоанн в окно, вытягивал шею: внизу, за огородами, – река, за рекой – поля, лес… Из лесу выполз уже туман, покрыл луга молочными прядями, скатывался потихоньку вниз, к реке.

– Господи! – вздыхал Иоанн и снова слушал тихое звяканье посуды, смотрел в окно, в дали.

Настасья осторожно заглянула в горницу, увидела лохматую, давно не стриженную голову, тёмную шею, широкие твёрдые лопатки, большие ступни подвёрнутых ног.

Но странник не шевельнулся, не ответил, думал о чём-то, упираясь длинными руками в пол. Настасья ушла, поставила на крыльце самовар, стала доить корову.

А странник услыхал через минуту в сенях лёгкие шаги, подумал торопливо: “Девка!” – настороженно повернул голову. Стукнула дверь, на пороге горницы шаги замерли. Иоанн задрал бородку, широко перекрестился, глядя в тёмные лики икон: знал, что пришедшая изумлённо смотрит на него.

Молчание. Потом шаги быстро застучали обратно в сени. Иоанн вскочил, беззвучно подошёл к двери, приложился бурым ухом.

– Мама!

– Чего ты? – Равномерное цвирканье молока по ведру прекратилось.

– Мама, что это за человек у нас?

– Так… Проходящий какой-то. Странник, веру ищет, ночевать попросился.

– Странник? Старый?

– С бородой, а так не дюже… Глаза у него молодые.

– Проходимец, может, какой-нибудь?

– Что ты, Христос с тобой! Человек божественный, молящий…

Молчание. Только слабо похрюкивает поросёнок. Опять послышались равномерно-быстрые тугие звуки молока по ведру.

– Поросёнка кормили?

– Не, не поспела ещё. Там я намешала ему, за печью…

– Я покормлю.

Иоанн тенью метнулся от дверей в горницу, припал на колени, задрал бородку. “Стерва! – злобно думал он. – Выгонит ещё, поночевать не даст!”

А в избе слышались тихие хозяйственные звуки, тьма скоплялась по углам, уже ничего нельзя было разобрать – ни ликов икон, ни фотокарточек, ни почётных грамот, – всё пропадало

в темноте, всё становилось волнующе-таинственным, вошли в избу лесные тени. Когда стало совсем темно, а месяц над лесом побелел и стал осторожно заглядывать в окна, внесли горящую яркую лампу, зашумел самовар на столе, странник вышел из горницы, сунул в котомку Евангелие с “Поминальницей”, сел на лавку, щурясь, стал следить за Любой.

3

Сели ужинать. Ел странник жадно и много, громко глотая, шевеля бородой и ушами.

– Кушайте, кушайте… – говорила Настасья, подвигая к нему еду.

А он, поднимая воспалённые синие глаза от тарелки, каждый раз взглядывал на Любу, и та, чувствуя его взгляд, розовея скулами, нервничала, подрагивала бровью. Была она красива неяркой смуглой красотой, осталось в ней что-то от девушки – угловатость движений, неуловимая бегучесть глаз, робкая грудь…

Поглядывал на неё странник, нравилась она чем-то ему, и начинал он уже думать, что хорошо бы обрить бороду, жениться на такой девке, работать по хозяйству, спать с ней на сеновале, целовать её до третьих петухов… От таких мыслей взбухало сердце, звенело в голове.

– Кушайте, не стесняйтесь… – просила его Настасья. – Вот грибочков попробуйте, нонче рано грибочки пошли.

Наевшись, Иоанн перекрестился, привычно поклонился хозяйке и Любе, отодвинулся от стола, хотел рыгнуть, но застеснялся, стерпел, стал свёртывать папиросу, рассыпая на колени табак и подбирая его.

– Курю вот, – сожалеюще сказал он. – Курю… Бес искушает, сколько разов уже каялся, епитимью накладывал – не могу…

Люба вдруг засмеялась, отворачиваясь, отошла к печке. Настасья засуетилась, приподнялась, умоляюще глядя на странника.

– Чего ты, ну чего ты! Сбесилась ай нет?

Люба молчала; прикрывая глаза ресницами, сдерживала смех.

– Да, – повышая голос, сказал странник. – Умны многие стали, не верят, а бес-то тут как тут… Мельтешат всё, жизнь суетливая стала, мыслей настоящих нету, машина всё… Съела человека машина! В Апокалипсисе об этом прямо сказано.

Люба, усмехаясь, уже открыто смотрела на него.

– Что смотришь? – спросил грубо Иоанн, ощущая в груди весёлую злость к ней. – Или не нравлюсь? Не видала таких-то? Может, жалеешь, что за стол сел?

– Чтой-то вы, Бог с вами! – испугалась Настасья.

– Стола мне не жалко, избы тоже… – звонко сказала Люба. – Мамино это дело. А если уж прямо говорить… Смешно, конечно. Что вы ходите? Не стыдно вам? Бороду вот отрастили… Думаете, от бороды святости прибавится? Честное слово, прямо как в самодеятельности у нас!

– А ты не пошла бы?

– Я? Нет, я работу люблю.

– Работу… – Странник засопел, стал смотреть в угол. – Глупая ты девка. В чём ваша работа? В Бога не верите, а Он есть и пребудет вовек! Работа… Эх, вы-ы! Я вот хожу, смотрю…

– Смотреть легко, – небрежно вставила Люба.

– Я вот хожу, смотрю, – продолжал странник громче. – Что вы делаете? Как живёте? Лучше ль стало на земле жить? Хуже! Истинно тебе говорю – хуже! Воров стало больше, разврату больше. Евангелие святое читаю… Вот она, книга-то! – Он похлопал рукой по котомке. – Этого в техникумах да в институтах ваших нету… Нету!

– И не надо… – зевая, сказала вдруг Люба. – Без этого обходимся. Что-то устала я, пойду лягу… Спасибо, мама.

Она отошла от печки, взяла что-то в комоде, прошла мимо, обдав странника запахом здорового чистого женского тела, вышла в сени, стукнув дверью.

– Гордая девка, – перехваченным голосом сказал странник и усмехнулся. – Хара-актер!

– Что ж, молодые они, – примирительно отозвалась Настасья, убирая со стола. – Понятия другие. Смелые они теперь… Вы не обижайтесь. Жизнь-то у неё не лёгкая. Молодая, красивая, а… вдова.

– Н-да-а, – обронил задумчиво странник. – Господь, значит, рассудил так. Я вот тоже не думал странником стать. Конечно, интерес к жизни у меня, с другой стороны, был. Псковской я сам, из деревни Подсосонье, не слыхала? Родителей моих в войну побило, царство им небесное, остался я один, как быть? Туда-сюда мыкался, работал, поля разминировал, взорвалась одна мина, ранила меня в живот, под самый дых, еле жив остался, инвалидом стал… Ну а что инвалиду? Работёнку, может, какую лёгкую? Да образования нету, долго учиться, ежели на инженера там или агронома. Плохо мне стало в колхозе, скучно, душа у меня ненасытимая, – и потянуло меня в дальние дали. Стал я к Богу припадать, раньше-то тоже не верил… Старичок у нас в колхозе был – молоковозом работал, – боже-ественный старичок. Он меня всему наставил, стал по книгам читать – так на так всё выходит. “Иди, сын мой, – это он, значит, мне говорит. – Иди, говорит, во святые места, молись, спасай нас всех от гибели и сам спасайся”. Я и пошёл, да вот уж пятый год хожу. Мно-ого народу ходит, люди всё чистые, святые. Легко мне теперь, стою к Богу близко и с дороги своей уж теперь не сойду. Нет, не сойду!

– А теперь далеко ли идёте? – сонным голосом спросила Настасья.

– Да вот завтра хочу до Борисова дойти, к Животворящему Кресту приложиться. Много я наслышан про него. А где я только не был! В Киеве при монастырях жил, подаянием кормился, во святой Киево-Печерской лавре был, место дивное. Молящихся много… И в Троице-Сергиевой побывал, в Эстонию даже заходил, на Ветлуге был – ну, там народ хмурый, беспоповцы, сектанты, не люблю я их, не подают, паразиты…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.